



А. Цессарский
ПРОБУЖДЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. ЦЕССАРСКИЙ

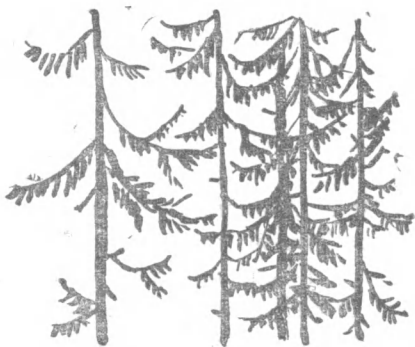


Продуждение

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1972



Рисунки Ю. Игнатъева



1

Не сердись, длинно писать времени не было: распределение, экзамены, сборы... Все крутилось, мелькало, как в кино. И вот точно лента оборвалась — тишина. Сажу на красном пожарном ящике у деревянного сарая. На сарае вывеска: «Ж.-д. станция 347 километр». Несколько закопченных бревенчатых домиков. За проволочной оградой — черные железные бочки, дизелек постреливает. А передо мной через насыпь — тайга!

И времени сколько угодно. Сажу, ногами болтаю, письмо тебе пишу. Дежурная по станции ушла, замок на двери повесила — тут в сутки два поезда проходят. А я жду повозку из химлесхоза. Жду уже полтора часа. Дежурная успокоила: повозка в конце концов всегда приходит — за почтой.

Спрашиваешь подробности? Сделала, как ты советовала, и все вышло по-твоему. Подружки мои, прослышав про заявку из тайги, перепугались и переполошились. Набежали родители. Как, наших малюточек в тайгу?! Поднялись интриги, козни. Вранья было — ужас! У одной хронический насморк, у другой бабушка инвалид, третья замуж собирается... И вот на этом фоне вхожу в комнату комиссии и заявляю, что сама, добровольно, желаю в тайгу. Господи, что началось! Комиссия — в слезы, от умиления. Директор... Я тебе его описывала, можешь

вообразить. Вышел из-за стола, розовая лысинка взмокла, глаза покраснели... Руку пожал! Потом на общем собрании техникума говорил обо мне речь. Чего только там не было! И соль земли, и героиня далеких горизонтов, и особенно насчет бескорыстия и самоотверженности...

А я-то про себя отлично знаю, ЗАЧЕМ еду в тайгу.

Молчу, принимаю всё как должное, как истинное. Получается двоедушие, даже лицемерие. От этого на душе тяжело и гадко... И была минута, когда захотелось, чтобы и было так, как они говорят и верят: чтобы ехать без всякой корысти, с легкой душой... А если не так, то отказаться. Конечно, то была минута слабости.

Но я справилась. Вспомнила наши с тобой разговоры. Насчет разумного эгоизма. Всякий раз, когда начинаю колебаться, повторяю себе твои слова: чтобы потом отдавать, нужно вначале брать. Миленькая, ну что бы со мною стало, не будь тебя! Так и плыла бы по течению, как до сих пор. Ведь я всегда делала только то, чего требовали другие: в школе против всякого желания выпускала газету, пошла в техникум, не любя химии, в общежитии все вечера для подружек крутила на проигрывателе шлягеры, от которых тошнит. Всегда к кому-то подлаживалась. И как позавидовала тебе, когда, помнишь, в седьмом классе на собрании ты встала и отказалась от общественной работы, заявила, что ничем, помимо учебы, заниматься не станешь! Вот и окончила на пятерки. И в институт нынче пройдешь, не сомневаюсь. А я?..

Баста! Не хочу больше жить для других. Тем более, что все другие для себя живут. Только прикрываются красивыми словами. А дурочки, вроде меня, верят. У меня теперь одна цель: пробыть в институте. Вот для чего я еду в тайгу. И ни для чего больше. Кстати, и тайга-то только издали впечатляет. А вот сижу и смотрю на нее — обыкновенный лес! Те же сосны и березы, что у нас в старом парке. Сороки обыкновенные прыгают. Так и ждешь, что сейчас рядом трамвай загромыхает...

Конечно, ты права: стаж в тайге мне выгоден с точки зре-

пия приемной комиссии. Но я еще выяснила: так как потом буду сдавать на химический факультет лесохимического института, а наш техникум того же министерства, то у меня будут льготы при поступлении. И в маленькой лаборатории химлесхоза на простых анализах набью руку, что мне потом очень пригодится в институте. Это я уж сама додумалась. Вообще мечтаю, мечтаю... Хорошо бы, например, остаться после окончания в аспирантуре на кафедре... Вон куда хватаю! А что? Уж если рассчитывать, так далеко! Времени в этой глуши, без вечеринок, танцулек и прочего, у меня будет сколько угодно, смогу без помех готовиться по предметам. Учебников везу с собой чемодан!

Знаешь, я даже рада, что будет глушь. Осточертело общение, подружки с их разговорами о тряпках и мальчишках, радио, люди вообще... В химлесхозе заготавливают живицу — сосновую смолу. Как мне рассказали, люди туда собираются случайные — на один-два сезона, подзаработать денег и уехать. Так что никому там до меня не будет дела. Свобода! Самостоятельность! Чего лучше?

Ой, померещилась повозка, и сердце заколотилось, как на экзамене. До сих пор в глазах темно. Только сейчас поняла, что ужасно волнуюсь. Неуверенность... А что, если я в техникуме ничему не научилась? Или все забыла? Голова какая-то пустая. Опозорюсь!.. Никакой повозки. Просто от ветерка или от солнца варябило между деревьями. И чего испугалась? Подумаешь, какой-то химлесхоз! Два года пролетят, уеду и не вспомню. Мне лишь бы к институту подготовиться.

А с Юркой вы опять рассорились? Сужу по тому, что ты о нем ни словечка. Я бы на твоём месте раскисла. А ты молодчина — зубришь с утра до ночи и характер выдержишь. Но все же не мучай его и себя, позвони ему первая. Ведь он небось снова побледнел, похудел. Пиши обо всем подробно. Отвечу.

Нет, это все-таки не наш уютный, ручной лесок с яичной скорлупой и конфетными бумажками. Это дремучая громада, которая наваливается на тебя и давит и душит... До сих пор не отойду. Четыре часа колеса стучали по корням, как по моей собственной голове. Четыре часа вокруг меня однообразная, лохматая, перепутанная, как пакля, непроглядная чащоба. Дорога вверх-вниз, тайга то проваливается подо мной в пропасть, то обрушивается мне на голову. И ни одного просвета!



Возчик, сухопький, суетливый старичок, всю дорогу развлекает рассказами о медведях, которые тут встречаются на каждом шагу и запросто обдирают человека до костей. Несколько дней назад тракторист, волоча поваленное дерево, разворотил медвежью берлогу с медвежатами. Еле удрал на тракторе от расвирепевшей мамыши. Другая медведица два дня осаждала лесника в избе. Еще кто-то пропал рядом с домом, неделю искали, нашли оглоданные косточки. И все в таком роде. И, конечно, он своего добился. Когда стемнело, а стемнело вдруг и на-

глухо, каждый пень, подступавший к повозке, оборачивался медведем, и я сто раз умирала от страха. Наконец нас вплотную обступили гигантские стволы. Дорога совсем кончилась. Лошадь стала. И такая пала тишина, точно заложило уши. Возчик обернулся и радостно возвестил:

— Ну, дома!

Мне захотелось в тот же миг очутиться в твоей тесной комнате, увидеть из окна светящуюся синюю вывеску напротив, послушать шум улицы... Точно другая планета!

В темноте скрипнуло, завизжало, грохнуло. Вырезался прямоугольник желтого света, и оттуда выкатилась кругленькая, полненькая фигурка в платочке и принялась выпевать:

— Ну и приехали, ну и ладно-то! А я истревожилась. То ли поезд не пришел, то ли повозка твоя развалилась. Ты ведь у нас мастак! — Говорила она с удивительно приятным напевом, каждую фразу повышая к концу до удивленного вопроса. Разглядела меня в повозке да как завопит: — Господи! А сказывали, мастер приедет! Мужик!

— Вот тебе и мужик! — злорадно сказал возчик и потащил мои вещи в дом.

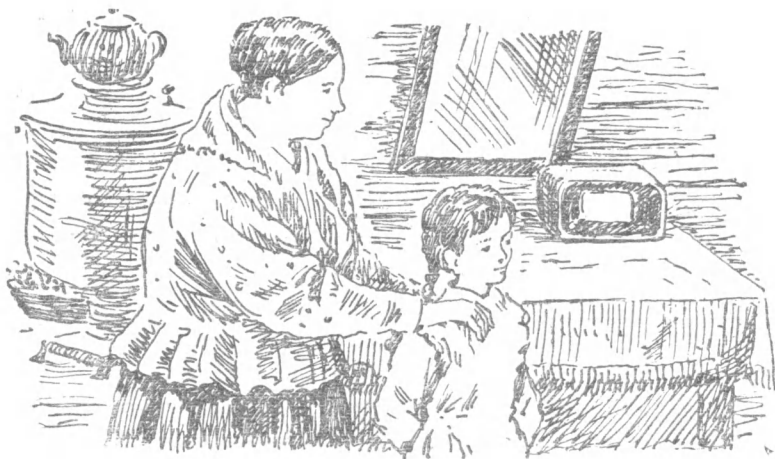
Оказалось, здесь мне и назначено жить. А в контору к начальству следует явиться с утра.

Через темные сени мы прошли в кухню, наполовину занятую русской печью и грубо сколоченным обеденным столом.

Хозяйка носилась вокруг меня, грохоча стульями, тарелками, кострюлями, и все пела:

— Садись, садись, ноги протяни — сомлели, тридцать километров поджамши...

Она остановилась передо мной и, с лихостью сорвав с себя платок и швырнув, не глядя, в угол, принялась рассматривать меня с откровенным интересом. Лицо у нее на первый взгляд некрасивое — круглое и плоское. Но когда она вдруг хлопнула себя по бедрам и закричала: «Катька, мастера погляди! Поди, поди, шибче!» — глаза ее в узких щелочках так загорелись и лицо осветилось таким непосредственным добродушием, что предельно как похорошело.



Приотворилась одна из двух дверей, ведущих в жилые комнаты, и на пороге встала босоногая девочка лет семи-восьми, такая же узкоглазая и круглолицая, и выпялилась на меня.

— Нет, поди ж ты! А я мужика ожидала. Бабе сорок лет, холостует! — расхохоталась хозяйка и подмигнула дочери как равной. Потом стала приставать с едой. Водки предложила: — Чо жмешься? И я с тобою выпью.

Сразу решила не вступать в фамильярные отношения и не одоляться. Сказала, что хочу спать.

Она поняла по-своему:

— Умаялась! Иди, иди, постелено.

Ввела меня в маленькую, чисто прибранную комнатку. Пахнуло нежилой свежестью пола, белья. Хозяйка поглядела на меня с каким-то веселым пренебрежением.

— Небось не куришь? Отдавай пепельницу! — и забрала со столика у окна тяжелую пепельницу с фигурками. Видно, досадно, что пепельница не пригодилась.

Долго сидела я на краешке жесткой кровати, смотрела в черноту за окном. Тусклая лампочка под потолком мигала и тонко

звенела, как комар. За перегородкой звякали кастрюли, стаканы, слышались приглушенные голоса хозяйки, Катьки, тихий смех. Все вокруг чужое и непонятное.

Сейчас, когда пишу тебе письмо, все в доме утомилось. Тишина мертвая. Я одна на белом свете...

Вчера вечером прервала письмо потому, что лампочка погасла. И когда за окном из тьмы выступили черные мохнатые лапы и, покачиваясь, бесшумно заползли по стеклу, мне стало не по себе, я не стала перестеливать и быстро влезла в чужие холодные простыни. Устала так, что едва начала жевать галету, которую напарила в чемодане под кроватью, как тут же уснула. Только что проснулась от хриплого смеха Катьки. Утро. Она стоит на пороге в розовом облачке и, растянув рот до ушей, показывает на меня пальцем. Ее рассмешило то, что я заснула щекой на галете.

— Нянька! А мама на дворе, доит.

Что означает «нянька»? Может, они рассчитывают, что я буду у них детей нянчить?! Пойду к хозяйке договариваться об условиях. По дороге в контору опущу письмо.

3

Восхитительно! Меня просто-напросто обманули. Никакой химической лаборатории тут нет. И быть не может! Полдня не могла сесть за письмо: так злилась. А потом... Потом пришла в телячий восторг. Но опишу по порядку.

Утром, ни о чем не подозревая, пошла договариваться с хозяйкой. И тут увидела, как славно стоит наш дом, да и весь поселочек. Спустившись с крыльца, обогнула дом слева и очутилась в огороде среди картофеля и огурцов. Слышу — в другом конце двора дзинькает пустое ведро. Пошла по тропинке за дом и обмерла. Прямо у меня под ногами метров десять обрывистого берега, сплошь в кустарнике с малиновыми цветами. Весь обрыв залит солнцем. А внизу, куда солнце еще не добралось, черпильно-черная река, и на другом, низком, берегу черная стена леса. И такой оттуда, снизу, сказочной жутью ве-

ет, и так хорошо здесь, на малиновом этом обрыве под солнцем,— передать невозможно!

Речка зовется Карабуха и где-то там далеко впадает в Ангари.

Хозяйку не разберу — не прикрывает ли она своим добродушием обыкновенный расчет? Разговор получился смешной. Я вошла в хлев. Чистенько. Коровка белая, как вымытая. Хозяйка в фартучке на скамеечке. Узнала, не обернувшись.

— Ай парного захотелось?

Говорю, жирного молока терпеть не могу.

— А ты снимки Катьке отдавай, заглотнет.

Ну, думаю, ты меня не перехитришь. Давайте, говорю, сразу условимся: никаких одолжений. Если что съем — заплачу. За квартиру отдельно. Стираю сама.

Она себе доит, точно ее и не касается. Доит красиво: сильно, ритмично. Ведро быстро наполняется. Струи молока бьют в снежную пену, как белые молнии, и с таким сочным причмокиванием, что у меня слюнки потекли.

— Дом-от не мой, лесхозный,— пропела наконец хозяйка, не сбиваясь с ритма,— бесплатный.

— А за стол сколько?

— Чо мы, то и ты.

Явно боится продешевить. Выдала я ей таким деловым, опытным тоном, что сама восхитилась:

— За трехразовое питание сорок рублей в месяц.

Что ж, ты думаешь, она ответила? Круто поворачивается ко мне вместе со скамейкой, аж дерево завизжало, и вижу: просто задыхается от смеха.

— А чо наешь на сорок рублей-то, ну? Чо в тя влезет?

— Я много ем!

Она покатила от хохота.

— Двадцатку давай, и с того лопнешь, ну!

Хохотала она до слез. Так я и не поняла, кто кого перехитрил.

Но все это имеет исторический интерес. Я уезжаю. Делать мне тут абсолютно нечего. Ты любишь подробности — вот тебе мой первый и последний разговор с директором химлесхоза.

Иду по единственной улице поселочка в самом радужном настроении. Глазею по сторонам, гадаю, в котором домике моя лаборатория. В окнах солнышко горит. Над трубами дымки. За заборами колодцы скрипят. Со встречаемыми приветливо здороваюсь: глядите, заведующая идет! Хорошо.

В крошечном кабинетике навстречу мне поднимается директор. Письменный столик ему до колен. Круглая голова под потолком в табачном дыму. Казбек! Сверкает на меня оттуда грозными очами из-под лохматых черных бровей и объявляет:

— Товарищ Вера Иннокентьевна, вы назначены мастером по заготовке живицы на проскуринский участок. Оформляйтесь.

Как? Что? Куда? Почему? Ничего не понимаю. Вы ошиблись! Я химик. Голова у меня сразу крúгом, пол из-под ног уходит. Бормочу что-то насчет лаборатории, насчет моих планов.

— Может, вам сюда еще институт подать?! Сроду здесь никакой лаборатории не было. И не будет. Вы окончили лесохимический техникум. Вы лесохимик и обязаны отработать два года в лесу. Всё! Оформляйтесь.

Представляешь? Рыкающий великан—и рядом я с моими ста пятьюдесятью восемью сантиметрами, с моим рыдающим голосом, с постоянным чувством, что я должна, обязана... В общем, крест на всех планах и мечтах! Готовлюсь зареветь... И вдруг вспоминаю о тебе. Довольна? Да, вижу тебя на моем месте, перед этим всемогущим директором. Ты спокойно, не торопясь, достаешь из сумочки направление. Аккуратненько кладешь бумажку на стол, расправляешь ее пальчиками с розовыми ноготочками. И в глаза ему, сдержанно, снисходительно улыбаясь, говоришь:

«Заблуждаетесь, товарищ директор. В направлении и в дипломе я называюсь химик-лаборант».

«Что из этого?»

«Из этого следует, что вы обязаны предоставить мне должность именно химика-лаборанта. У вас нет такой должности? И не будет? Так и напишите в комиссию по распределению.

И верните мой диплом туда или выдайте мне на руки. И распорядитесь, пожалуйста, чтобы меня отвезли к поезду».

Он в бешенстве орет:

«А-а! Вы знаете свои права!»

А ты? А ты усаживаешься и невозмутимо ждешь, когда он выполнит твоё требование.

Веришь ли, все произошло точно так. Вот какая у тебя учепица! Слезы у меня моментально высохли. Я преисполнилась достоинства и самоуважения.

И произошло чудо: Казбек на моих глазах рассыпался. Директор плюхнулся на стул и долго таращил на меня глаза. Наконец опомнился:

— Что за молодежь!

— Не то что в ваше время?

— Вы даже не поинтересовались, что мы тут делаем, чем живем. Мастерский участок — ведь это люди! Люди, которые выполняют важнейшее государственное дело! Вам безразлично? Страна за канифоль должна капиталистам платить золотом. Золотом! А? Канифоль получают из живицы, которую заготавливают на вашем участке. Из живицы можно получить уйму химических веществ. Это же не сок течет из сосны, а чистое золото! А вы о себе! Вам нужна лаборатория! Вам не обеспечили условия! Вам, вам, вам! Всё вам! А от вас что?

Мне сделалось его жалко, так он расстроился.

— Мало ли где еще я могу пригодиться! Нужно совмещать интересы государства и интересы отдельных людей.

— Кто же должен об этом позаботиться?

— Государство.

— А по-моему, отдельные люди тоже должны об этом заботиться! Вы должны думать об интересах...

Но тут уж я взорвалась:

— Должна?! С самых пеленок я только и слышу: должна, должна! Что я, в долг родилась, что ли? Никому ничего не должна!

Он страдальчески подергал себя за лохматую свою шевелюру.

— Научились разговаривать! На готовеньком растете! Трудностей настоящих не видели!

И всё в таком роде, что я уже сто раз слышала.

Потом он долго молча водил карандашом в воздухе над моим направлением, сердито морщился. Но я уже знала, что выиграла.

Вошел главный инженер, высокий, костлявый, с лошадиным лицом.

— Что? — проговорил он, боком подсаживаясь к столу и поглядывая на меня искоса.

— Отказывается, Семен Корнеевич. Нет должности по специальности! — Директор обиженно швырнул карандаш.

— Знают законы! — хихикнул Семен Корнеевич. — Отпускай их, Мефодьич.

— Но ты же понимаешь, после этого нам ни за что не пришлют ни одного техника!

— Обходились же...

— «Обходились»! Время теперь не то. На заводах все рабочее с десятилеткой. А у нас мастера — ни образования, ни культуры...

Они долго спорили, я перестала слушать. Потом вспомнили обо мне. Семен Корнеевич повернулся в мою сторону.

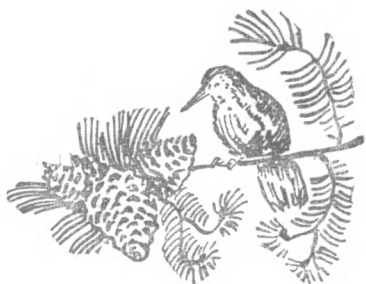
— Конечно, мы тут допустили ошибку в понятии закона. Просим извинить: тайга, темнота! Дорогу оплатим в оба конца. — Помолчал, что-то высматривая на моем лице, и добавил: — Да и не по силам вам тут, — и осклабился.

Директор смахнул мое направление в ящик стола, буркнул:

— Посоветуюсь, как написать... Послезавтра утром... Езжайте куда хотите... — не глядя, кивнул и отвернулся к окну.

И теперь, когда первая злость улеглась, вдруг поняла: свободна! Иметь право ни с кем и ни с чем не считаться, только с собой! Делать что хочется! Я в опьянении каком-то. В доме никого, пишу тебе и едва удерживаюсь, чтобы не прыгать.

И зачем пишу? Ведь наверняка доеду до тебя раньше, чем письмом. Лечу!..



1

Получила твое паническое письмо. Жива, жива! И медведь не съел. И с поезда не свалилась. Просто я так и не уехала из этой Елани. Почему? Сама не понимаю. Эти две недели хожу в каком-то полусне. Иногда охватывает ужас: зачем осталась, полезла в петлю?! Но я не могла иначе: что-то во мне вдруг воспротивилось. А может быть, просто привычка подчиняться, слабохарактерность, боязнь огорчить или обмануть ожидание... Еще представила себе, как вернусь после всех речей перед отъездом — героиня!.. А может, еще и это: а... пусть идет как идет, чему быть, того не миновать, плыву по течению... Не знаю, все смутно во мне... Одно знаю: не смогла на все наплевать, не смогла!

2

Ты спрашиваешь, что же все-таки произошло? Конечно, мое последнее бредовое письмо ничего тебе не объяснило. Но ведь я сама не понимаю!

Лучше опишу все по порядку, может, будет яснее.

После разговора с директором я сразу объявила хозяйке, что уезжаю. Та сперва даже одобрила:

— Ну и ладно, ну и езжай. Что молодость в тайге травить!

А потом, смотрю, поскуцнела моя хозяйка. Слоняется по дому, тянет унылую песню про какого-то вьюношу, которого посылают за тридевять земель родного отца повидать. Спросила, откуда песня. Она подсела ко мне на кровать, стала рассказывать. Песня старинная. Будто при Петре еще пели. Слыхала ее от слепого деда. Тот с малолетства зрение потерял — на демидовском заводе у печной заслонки глаза ему выжгло. О себе рассказала. Жизнь у нее какая-то неладная — рано осиротела, школу бросила после четвертого класса, ничему толком не выучилась, уборщицей работала. (Не помню, писала тебе, что хозяйка моя уборщица в конторе, в школе, в магазине и везде, где понадобится?) Но она не жаловалась. Рассказывала легко, с веселым удивлением: гляди-ко как чудно! Говорок-то у нее уральский, такой заразительный, что я за две недели и сама стала выпевать и чокать.

Сидели мы с ней так долго. Рассказала и я о себе, о нашем с тетей житье-бытье, и как из нашего города в техникум уехала. Тебя подробно расписала. И знаешь, она умница — все понимает. Про тебя сказала: молодец девка, себя уважает! Ведь вот именно это в тебе люблю: ты уважаешь в себе человека, личности! А я — нет. Ты требуешь, чтобы с тобой считались. А я не чувствую себя вправе. Поэтому, может быть, я и осталась.

Явилась откуда-то Катька. Хозяйка кричит ей:

— Нянька твоя, вишь, уезжает! Не потрафил!

Та в рев. Оказывается, накануне вечером, пока я одна в комнате тосковала, они с матерью вперед на два года напридумали, как мы все вместе жить будем.

— Катька, дура, арифметику не дюжит. Мечтала, выныпчишь ты ее с арифметикой. У матери-то голова чугунная!..

Сначала думала, хозяйка шутит. Потом смотрю — господи, п у нее слезы по щекам! И вот, поверишь, полночи проворочалась — уснуть не могла. Грызет меня идиотское чувство обязанности, чуть ли не вины перед этой женщиной, перед Катькой. Все, что ты мне можешь сказать, — все себе выговорила. Да, конечно, чтобы чего-то в жизни достичь, нужно многое пропу-

скать мимо себя. Какое мне дело до какой-то Катьки, о существовании которой два дня назад и не подозревала, которую никогда больше не увижу. К тому же никакой трагедии. Подумаешь, арифметика! Не всем же в Лобачевские! Вон мать уборщица и довольна жизнью. И в конце концов, просто свинство — навешивать на чужого, постороннего человека свои заботы. Народи́ла дочку — сама и хлопочи... И все-таки сколько ни бранилась, легла мне на сердце тяжесть, и сбросить не могу. Еле заснула.

Правда, утром все показалось не так сложно. Ладно, думаю, уеду и забуду. И пошла на хоздвор договариваться насчет повозки на станцию.

Хоздвор — это восточный базар. В одном углу бондарь орудует — белые щепки во все стороны летят, в другом под навесом глину и серную кислоту отмеривают — раздают, в третьем бочки с живицей принимают, взвешивают и выписывают квитанции. Шум, стук, споры, брань и смех. А посреди этой сумятицы расположился мой знакомый возчик, чинит свою повозку. Только теперь хорошенько его рассмотрела. Лицо у него совсем мышинное. На правом глазу веко опущено и втянуто так, будто глазница совсем пустая. А левый удивительно живой, так и бегаёт, и не то плачет, не то смеется — никак не поймашь выражение. Возчик страшно суетится вокруг повозки, то и дело приседает на корточки у одного колеса, у другого, лезет измазанным в дегте кривым пальцем в ступицу, цокает языком и горестно качает головой.

Инструмента своего у него нет, и он всякий раз бегаёт к бондарю и долго кланяется топор или долото. Бондарь, кудрявый рыжий парень с шалыми глазами, нарочно дразнит и потешается.

— Митька, дай топорика!

— Не дам.

— Дай, жила!

— Еще обзываешь, черт одноглазый! Не дам.

— Не для себя ж я, для людей. Будь человеком, дай!

Митька показывает кукиш и диким голосом заводит «Степь-

ку Разипа». Пока я там была, он раз десять за «Разина» принимался. Доведет до «На простор речно-ой...» и оборвет внезапно, точно ему в глотку затычку вставляют. Постучит, постучит топором и опять как завопит: «Из-за острова...»

— Видала? — хнычет возчик. — Могу я наладить транспорт? Вези на станцию! На горбу, что ли? Когда это не человек, а идол рыжий!

— Поговори! — весело кричит Митька и делает страшные глаза. — Убью!

В этот момент за моей спиной кто-то тихо, ласково сказал:

— Насчет повозочки уговариваетесь?

Возчик как-то странно вдруг одеревенел.

— Неисправность, Семен Корнеевич!

Я обернулась. За моей спиной стоял главный инженер и пристально смотрел на возчика.

— Кузьмич наладит, — спокойно и бесстрастно проговорил он. — Кузьмич ответит.

— Так у него инструмента нет... — начала было я.

Семен Корнеевич медленно перевел взгляд на меня.

— Найдет, — ласково сказал он.

Кузьмич как опшаренный бросился к Митьке, заскулил там вполголоса. Семен Корнеевич даже не оглянулся на него.

— Не сомневайтесь, Вера Иннокентьевна, поедете. Незачем вам тут. Народ у нас грубый, обидеть могут. Я с самого начала говорил Василию Мефодьевичу. Двадцать лет в тайге — все знаю. А они тут человек новый, года еще нет как директором работают... Культуру хотят сюда, образованность... Фантазии...

И, не кончив фразы и не прощаясь, пошел, сутулясь, к весам, где кто-то отчаянно бранился. Подумай, запомнил, как меня по имени-отчеству!

Когда я подошла к бондарной, Митька надсадно кричал:

— Бутылка мне сегодня нужна! А то ни в жисть бы тебе, подлипале, не сделал!

— Не обмани, Митя, сделай к вечеру, — молил Кузьмич.

— Сказал! — грозно оборвал его бондарь. — И сгинь с глаз, смотреть тошно! — Ушел за пирамиду белых пузатых бочек на-

саживать обручи — оттуда вскоре донеслись частые, резкие удары по железу.

Кузьмич присел на верстак, вздохнул.

— Две спицы сменить надо, без этого не доехать. Другому небось оглоблю за так сделает. А с меня за каждый чих — бутылку. «Подлипала!» — Он скорбно задумался.

— Ну что, Кузьмич, уеду я?

— Кабы меня кто увез!

— Кто вам мешает уехать?

Мне не следовало спрашивать. Его как стегнуло.

— Кто?! Черт! Дьявол! Жмет! Держит! За горло взял!

Уж и не помню, что он еще кричал, я так перепугалась. Он закашлялся. Лицо его сделалось темно-вишневым от удушья. Огляделась по сторонам за помощью. Хотела Семена Корнеевича позвать, он там под навесом вытягивал шею — смотрел в нашу сторону. Кузьмич тоже его увидел, вцепился в меня.

— Его не зови! Его не надо. Не помру, не боись! Поедешь. Раз он хочет, поедешь. А он хочет, вижу. Ему хороших людей не надобно. Ему вот я, да Митька, да еще кое-кто. А ты ему на что? Ему помыкать надо!

Он замолчал, раздышался. И вдруг, потянув меня за рукав, лукаво так сказал:

— А вить все одно повозочка в тайге рассыплется. В тайге застрять — страсть! Медведь подойдет — что ему скажешь? А змеюка? А гнуса кормить пробовала? То-то! Оставайся.

И снова я полночи не спала. Сколько ни убеждала, ни уговаривала себя уехать, уехать, внутри что-то твердит одно: стыдно! Почему стыдно, не знаю. Каждый на моем месте уехал бы. Ты-то — уж конечно! Ну, мало ли кто тут что обо мне думать станет, не все ли мне равно! Уеду — забуду, и меня забудут. А стыд во мне горит, печет. И чувствую, не могу через стыд этот переступить, не могу!.. Лежу и реву в подушку.

Доконала меня утром хозяйка. Разбудила Катька, втащив сверток.

— Мамка в магазине убирается. Тебе вон на дорогу пирогов испекла. С грибами. Вкуснота!..

И я побежала в контору. Как в воду головой. Боялась остановиться, оглядеться. Влетела к директору. Он сидел задумавшись, подперев голову рукой. Увидев меня, выдвинул ящик стола.

— Остаюсь! — говорю я, сама чуть не плачу. — Остаюсь!

— Ну, — сказал он, — передумала! — и заулыбался. Во весь рот. От уха до уха. Как маленький...

Вот десять дней уже изучаю, в чем обязанности мастера и что значит добывать живицу. Так что, как видишь, жива. А почему осталась? Не знаю.

3

Ты спрашиваешь, что я тут делаю. Умираю от усталости, от боли, от голода, от стыда, от обиды. Второй день мастер соседнего участка Платон Иванович Проскурин учит меня нарезать желобки на стволе дерева. Я напросилась. Мастер должен следить за тем, чтобы работа велась правильно, по инструкции. Нельзя просто так кромсать деревья, бессмысленно губить лес. Ведь после того как лесохимики «выдоют» деревья, сюда придут лесорубы и повалят их, повезут на стройки, на фабрики... Так вот, чтобы следить и понимать, надо же самой что-то уметь.

Платон Иванович объяснил мне всю премудрость в десять минут. Поначалу мне это показалось детской игрой. Суди сама. За зиму деревья окоряют — снимают кору на небольшой площади: пятьдесят на шестьдесят сантиметров. Специальным ножом — хаком проводят вертикальный желобок и под ним подвешивают приемную железную воронку, куда стекает живица. В течение лета, пока движется в сосне сок, под углом к вертикальному желобку нарезают мелкие желобки-подновки, или, как их здесь называют, усы. На хаке еще укреплен бачок, откуда в подновку подается сернокислотная паста, она усиливает выделение сока и разжижает его. Делает эту подсочку рабочий-вздымщик. Вот и все. А сборщица ходи себе за ним по пятам с ведром да выгребай лопаточкой живицу из воронок. Просто?

Особенно если сравнить с каким-нибудь химическим анализом! Вот именно!

Самоуверенно хватаю хак, набрасываюсь на сосну. Нож соскальзывает. Теряю равновесие и лечу носом в кустарник, по дороге успеваю ободрать о дерево локоть. Платон Иванович невозмутимо подает мне хак. Он вообще не улыбается, сухой, коричневого, безгубый, как с иконы. И говорит поучительно и загадочно:

— Глаза страшатся, а руки делают.

Наконец кое-как выскабливаю вертикальный желоб. Но эти проклятые усы! Они должны быть параллельны, определенной глубины. Представляешь, я — и параллельные линии! Усы извиваются во всех направлениях, и мне начинает казаться, что они зловеще шевелятся.

Платон Иванович воздевает перст:

— Токмо руками уразумеешь! — и заставляет переделывать.

Через час хак весит уже тонну. Спина разламывается. Ног вообще не чувствую. И ко всему еще гнус! В черном накомарнике как в тюрьме. Дышать нечем. Противокомариная жидкость вместе с потом заливает и ест глаза.



А ведь когда шла с Платоном Ивановичем утром по лесу, до чего все нравилось, радовало: на полянках солнышко, зелень сверкает и чешутся, всюду свисают лиловые, сиреневые сережки красноголовника. Рай! В этом раю вздымщик должен за сезон обработать четыре тысячи деревьев!

Обессилов, я наконец рухнула, привалилась спиной к сосне. Надо мной неведомо откуда встал Семен Корнеевич.

— Учишь, Платон Иванович?

— Наставляю.

— Не много ли? Изведешь. Они слабенские...

Платон Иванович строго посмотрел на меня:

— Ничто ей, не помрет.

Ты права, я, наверное, сошла с ума, что осталась.

4

Напрасно я тебя перепугала, не так уж все ужасно. Просто я расстроилась из-за своей бездарности. Мне выделили для учебы крошечный участок в опытном квартале — кое-что уже начинает получаться. Но до нормы мне еще далеко. К вечеру еле добираюсь домой. И тут дивные минуты. Настасья Петровна ставит на пол таз с горячей водой — попарить ноги. И вот в ногах блаженство, в голове пустота. Откуда-то с небес доносится голос хозяйки:

— Чо наголо сидеть-то? (Это у нее означает «натошак».) Брюхо добра не помнит!

Она вытаскивает из печи булькающий чугунок, и комната наполняется вкуснейшим запахом грибов, тушеных с картошкой и луком.

Катка приносит задачник, устраивается напротив и, расставив локти, смотрит мне в рот, ждет, когда я дожую. Тогда происходит самое удивительное: тело мое отделяется от головы и уплывает куда-то. А в голове праздник — все извилилки и клеточки пляшут. И задачки, которые в школе доводили меня до слез, оказываются простыми и решаются сами собой. Катка все глядит не в тетрадку, а мне в глаза. Привожу сравнения и

примеры из нашей жизни в Елани. Становится так ясно, что Катька, поняв решение, хохочет. И хохочет долго, пока Настасья Петровна не тронет меня за локоть:

— Засыпашь! Иди ложись.

Ухожу к себе с твердым намерением перед сном написать письма тетушке, тебе. Но вижу отогнутый угол одеяла и сдаюсь. Падаю в подушку и лечу, лечу до самого утра.

Почему ты ничего не пишешь о вас с Юрой? Куда ходите, что смотрите, что читаете? Или все еще в ссоре?

5

Так и знала, что ты меня презираешь. Письмо твое очень умственное: конечно, если нет цели, нет и смысла в жизни. Значит, я веду бессмысленную жизнь и ни на что другое не го-жусь. Ты считаешь, это плохо. А почему? Раньше мне казалось, есть у меня цель: институт. Но это ты внушила. Видно, это не было моей внутренней потребностью. Теперь мне даже удивительно: разве институт — цель? Ведь институт для чего-то другого. Для чего? Чтобы потом устроить себе благополучие, хороший заработок, уважение... Или чтобы выдвинуться, другими командовать. Но все это меня не тянет, и командиршей, ты знаешь, я никогда не была. Для чего же я живу? Чтоб замуж выйти?

Вспоминается мне, как прошлым летом, когда я приехала домой на каникулы, мы собрались у тебя и я в первый раз по-няла, как вы все повзрослели и как я отстала. Весь вечер мы спорили о смысле жизни. Вы тогда увлекались всякими древними философами. Юра восхищался Спинозой, в связи с чем — не помню. Ты — Эпикуром. Он, кажется, видел смысл жизни в удовольствии, которое не мешает другим. В общем, мы спорили, а я страдала — ведь я ничего этого не читала, не понимала. Я тебе тогда ничего не сказала. Но приехала к себе, набрала в библиотеке кучу книг по философии и засела. Хватило меня на два вечера. Все оказалось скучно, непонятно и, главное, не нужно. Не нужна мне философия, для того чтобы каждый день

вставать, умываться, учить химию, готовить ужин, ходить в кино... А тут я еще кое-что поняла. Особенно после того, как походила с Платоном Ивановичем по тайге.

Проскурин передавал мне свой участок. Сам он переходит на другой, отдаленный, недоволен и не скрывает. Тот участок труднее, и в конторе, видно, побоялись, что я не справлюсь. Было это позавчера. Вышли чуть свет. Платон Иванович впереди, скорым шагом. Серdito бормочет что-то насчет людской неблагодарности. Я огрызнулась: мол, давайте хоть за сто километров участок, только не ворчите! Он оглянулся на меня.

— А, отозвалась, завирушка!

Я обиделась смертельно.

— Никогда никому не врала!

Проскурин некоторое время продолжал идти молча. Потом остановился, обернулся ко мне и произнес торжественно, с укоризной:

— Птица, птица есть славка-завирушка!

И мне вдруг сделалось легко и весело. В лесу было очень хорошо—тихо, свежо. Несколько дней подряд стояли холодные ночи, мы даже боялись, что огурцы померзнут. И мошकारа пропала. Какая радость идти по лесу без накомарника! Дорога петляла вдоль речки, иногда, отходя, спрямляясь через сопку, но всегда возвращаясь к воде. На дороге под сплошным навесом ветвей еще сумрачно. А рядом в просвете берегов над черной водой уже течет вторая, воздушная река, полная чистого розового света. Это надо увидеть!

Проскурин в своем выгоревшем ватничке, в замызганной кепчонке, кривоногий — казалось, что ноги у голенищ переломаны,—молча шел впереди легким и быстрым шагом и, кажется, раздражался, когда я его догоняла. Однажды я сошла с дороги и спугнула какую-то большую темную птицу. Проскурин замер, вытянув шею. Сказал ласково:

— Глухарка с детками...— И мне сердито: — Ишь потревожила!

Потом, когда солнце поднялось выше, в прибрежных зарослях засверкали мириады лиловых капель. Проскурин сунул

туда руку и, пропустив сквозь пальцы ветку, вытащил полную горсть крупных, сочных ягод. Черемуха! Я набросилась на кусты, рвала обеими руками, пихала в рот полные горсти, жевала, пила, вдыхала этот прохладный, терпкий сок тайги. Утоляла жажду из родничка, ледяного, прозрачного, — от него никогда горло не болит, так проповедует Проскурин. И пока отдыхали у родничка, познакомилась еще с одной птицей. Сидим на мшистых кочках. Проскурин веточку крошит, кусочки швыряет. Только хотела о чем-то его спросить, он палец к губам, потом вверх. Смотрю, птичья головка из-за ствола сосны выглядывает, косит глазом на эти кусочки. Проскурин смеется:

— Любопытная bestия!

Оказывается, птица кедровка, которая лущит кедровые шишки.

Старик все знает в лесу. Я тебе описала наш выход в лес, чтобы сказать о Проскурине. Он в этих краях всю жизнь прожил. Его дед здесь лесником служил. Он сам — часть тайги. Среди сосен как сосна, среди птиц как птица. Есть ли смысл в его жизни? Такой же, как в жизни этой сосны и этой птицы. И это его совсем не заботит.

Пройдет время, и, может быть, я врасу в тайгу, как Проскурин, и перестану думать и мучиться. Наверно, в этом и есть главная цель: найти такое место на земле, где можно вот так врасу, чтобы просто жить.

А Юра прислал мне письмо. Коротенькое, как записочка. И все о тебе. Не понимает, почему вы поссорились. И я не понимаю. Ведь он настоящий!

6

Опять все вверх ногами! Два дня назад писала тебе, что все мне ясно: и зачем жить и как жить. Но тогда Проскурин передавал мне лес. А сегодня — людей. И опять я уже ничего не понимаю. И мне стыдно за то, как я высокомерно поучала тебя в том письме.

Сперва мы прошли к временке. Временка — это домик, который ставят в центре мастерского участка и где живут вздым-

пики и сборщицы во время сезона сбора живицы. Большой сруб в одну комнату с кладовой для инвентаря. Двадцать коек, быстро застеленных одеялами, покрывалами, простынями. Семейные отделены занавесками. В углу, на полках, горы консервных банок. Плита под открытым небом, там же врытый в землю стол и две скамьи. Рядом в овраге свалка. Потрясло меня то, что в этом домике, где двадцать человек теснятся вместе почти четыре месяца, дышат одним воздухом, едят одно и то же, все живут порознь. У каждого свои консервные банки, каждый сам себе готовит еду на плите, сам за собой прибирает или не прибирает. Спросила у Проскурина, почему они не объединятся, не заведут дежурство. Старик прищурился.

— А зачем?

Мы стали обходить участки вздымщиков, они расположены вокруг временки на расстоянии двух-трех километров.

Коренастый краснолицый Кирпонос. Он не обратил на меня никакого внимания, даже головы не повернул. Переходил от дерева к дереву косолапо, сутулясь, издали примеряясь.

— Работает как зверь, — сказал Проскурин. — И пьет как зверь.

А Мерич совсем другой. Цыганского типа. Оборванный, в тапках, грязный. Весь извивается и юлит. Охотно бросил работу, подбежал, засутился.

— Поглядеть пришли, познакомиться! Очень правильно, очень! Каторжный участок: тут овражек, там ручеек, вверх ползешь, вниз катишься. Накланяешься за день каждой сосне — спина плачет!..

— Не толдони! — строго сказал Проскурин.

— Больной же я, Платон Иванович! Мастер должна знать. Язва у меня есть? Есть. Летом задышка изводит. Зимой радикулит. Организм какой — все внутри сгнило. А Платон Иванович с меня требует, как с целого! Три раза заявлял поменять участок...

— Самолучший участок. Руки только приложить! — сердито оборвал его Проскурин. И когда мы отошли, добавил брезгливо: — Шалопут!

Вздымщиков Сидорова и Асмолову, мужа и жену, и сборщицу Дашу застали за едой. Супруги мне сразу понравились: крепкие, статные, одеты ладно в комбинезоны, подпоясаны ремнями. Завтрак в пачищенной кастрюльке прикрыт белой косыночкой. Термос. Сдержанно, но радушно Сидоров предложил перекусить. С удовольствием бы съела тушенку с картошкой. Проскурин отказался за двоих.

Сборщица ела в сторонке, что-то стыдливо прикрывая серой оберточной бумагой и выгрызая прямо из свертка. Запивала водой из консервной банки. Даша — маленькое, хрупкое существо. Голова плотно обмотана косынкой так, что один остренький носик торчит. Непонятно, как она может целыми днями таскать это тяжеленное ведро.

Сидорова и Асмолову после Проскурина почему-то обозвал бобрами. На вопрос, почему бобры, ответил по-своему, загадочно: «Нóрят!»

Побывали мы еще на одном участке. Там работал какой-то бывший уголовник, отсидел за что-то пять или шесть лет. Тихий, застенчивый человек с мягкой улыбкой. Каждое дерево обрабатывает старательно, ювелирно. Только разговаривает странно: скоро, многословно и невнятно. Сперва никак не могла разобрать, что он такое говорит. Проскурин спросил, не густа ли серноокислотная паста. Он ответил длинной фразой, в которой я поняла лишь последнее слово: «нормально». На вопрос, увезли ли бочку с живицей, снова длиннейшая абракадабра, и опять только в конце: «увезли». И вдруг я поняла: абракадабра — это бранные слова. Он произносит их без всякого выражения, по моему даже не замечая. Кажется, без этого вступления он, как заика, не может произнести нормальное слово. Уходя, Проскурин спросил, будет ли он на складе, в ответ завелось такое нескончаемое трах-тарарах-тах-тах-тах, что я ушла, так и не узнав, будет ли он на складе.

В этот раз мы не успели обойти все участки. Но и так у меня возникло сто вопросов. Пристала к Проскурину: что они за люди, чем живут, зачем сюда приехали, почему все отдельно? Старик все отмалчивался.

На обратном пути опять отдыхали у родничка. Любовалась серо-зеленым мшистым ковром, который стелился вверх по склону, мягко и округло окутывая пни, поваленные деревья. Над нами жалобно запела какая-то птица. Будто щипала тонкую струну на балалайке. Ущипнет три раза — и прислушается. Ущипнет — прислушается.

— Жалуетя! — сказала я. — О чем она тоскует?

Проскурин насмешливо посмотрел на меня.

— Это люди все жалуются. А птица ли, зверь ли, им некогда — они живут. Где ж тут тоска? Славка тенькает, знак подает.

Он помолчал и неожиданно сказал с презрением, отвечая на все мои предыдущие вопросы:

— Что об них говорить-то, об этих? Все проходимцы!

От этих его слов, от того, что птицы и деревья ему ближе и милее людей, мне стало так одиноко и страшно, что я заторопилась к моей Настасье Петровне с ее шумной суетой, к Катьке...

Нет, не хочу быть ни деревом, ни птицей! Мне с проходимцами этими в миллион раз интереснее! И, поверишь, так остро захотелось проникнуть каждому в душу, узнать каждую его мыслиночку, понять...

7

Я знаю, почему тебя испугал мой интерес к здешним людям. Не волнуйся, ни к кому я тут особенно не привыкну, ни в кого не влюблюсь. Совсем не собираюсь прозябать в Елани всю жизнь. Просто не желаю оказаться трусихой и сбежать раньше положенного срока. Но эти два года должна же я чем-то развлекаться! Театров и телевизоров в тайге нет. Зато каждый человек — настоящий двухсерийный фильм. Буду смотреть и, если хочешь, тебе описывать. Сохрани эти письма, потом приеду, перечитаем — вместе повеселимся. Ты не обращай внимания на то, что я тебе раньше писала. Настроения, знаешь ли!.. Твой Эпикур прав, надо жить в свое удовольствие. А для этого нужно

жить осторожно. А то я на днях в такую неприятность чуть не влипла. Нет-нет, ни с кем особенно не сближаться, ни в чьи интересы особенно не вникать — вот теперь мое правило. Наблюдать со стороны. И баста! А помог мне, как ни странно, главный инженер Семен Корнеевич.

Видишь ли, основное дело у мастера — выписывать ежедневные наряды рабочим. Есть форма наряда, инструкция. Кажется, чего проще, заполняй себе графы, сколько кому за день положено сделать. Вот так сидела я в конторе и выписывала наряды на следующий день. Приходит за нарядом один рабочий, другой... И какое же счастье, что, перед тем как за нарядом явился Петрушин, в комнату заглянул Семен Корнеевич.

Вообще мне сдается, главный инженер химлесхоза тащит на себе весь воз. Директор очень болен, и я его почти не вижу. У него что-то с легкими или с сердцем: он оттого и приехал сюда, что в городе задыхается. И сейчас он лежит — приступ. А Семен Корнеевич хоть и не имеет специального образования, но практический опыт — двадцать лет! И человек толковый. Рабочие участки знает до кустика, до пенышка! Вот как ошибочно бывает первое впечатление!

Семен Корнеевич присел к столу, по памяти выписал несколько нарядов для примера. И раскрыл мне целую науку. Оказывается, можно выписать наряд так, что вздымщик за просто перевыполнит норму, а можно и наоборот. Все дело в фонде заработной платы, которую государство выделяет химлесхозу. Поэтому все время считать нужно: если одному побольше выписал, другого надо немного попридержать. Чтобы в сумме не перерасходовать фонд.

В самый разгар нашего разговора и заявляется вздымщик Петрушин — не помню, писала ли тебе о нем. В первый день мы с Проскуриным до него не добрались. Но потом я побывала на его участке. Он завел себе там какие-то приспособления: у каждого дерева колышек — воронку вешать после окончания сбора на зиму. На хаке для чего-то ремешок приделал, как на винтовке. Деревья обходит по особому сложнейшему маршруту. Он тут же начертил мне на папиросном коробке схему обхода, но



я ничего не поняла. Схема, как он объяснил, учитывает горизонтальный и вертикальный рельеф, характер почвы и еще что-то, позабыла. Проскурин все это слушал без всякого интереса, потом сказал по-своему, не то в похвалу, не то в укор:

— Ум разуму не указ!

Семен Корнеевич для примера наряды выписал как раз на участок Петрушина. Он взял свои наряды, просмотрел, побледнел, сорвал шапку и стал на меня кричать. Ну и вид же у него был при этом! Нос утиный, губы тянет трубочкой, на темени холок. Машет шапкой и кричит грозные слова. Из них выяснилось, что я вовсе не мастер, а Галина Уланова.

— Ага, танцуете под дудочку главного инженера!

Попросила объяснить, в чем дело. А он свое:

— Пляшете! Рационализацию нарядами подрезаете! Другим хоть две выработки, а меня на голодный паек!

— Так и скажи, что денег хочется. А то — рационализация! — укоризненно сказал Семен Корнеевич.

— Я не с вами, я с новым мастером говорить пришел.

Но я сказала строго:

— У нас есть фонд заработной платы, и мы не можем платить сколько кому захочется.

— Спелись! Плеваты! Знаю, чего вы все боитесь, знаю!
— Боюсь? Я? Мы? — Я оглянулась на Семена Корнеевича.
— Очень ты страшный! — сказал Семен Корнеевич, не улыбаясь.

— Бригады боитесь! — торжествующе прокричал Петрушин. — Коллектива!

— А ну, чеши отсюда! — тихо, с угрозой сказал Семен Корнеевич.

— Оба меня попомните! — Петрушин выбежал из комнаты, потрясая шапкой и нелепо топая большими кирзовыми сапогами.

Я спросила, о какой бригаде кричал Петрушин. Семен Корнеевич покачал головой.

— Бред. Работать не может, норму не дает, ну и мутит воду. Тут есть кое-кто, по каждому наряду будут горло драть. Считают, мастер новенький, неопытный, девушка. Хотел он вам очки втереть, я ему помешал. А перепиши вы ему наряд по его желанию — и всё! И нет авторитета. Каждый рабочий диктовать вам будет и кулаком стучать.

Как видишь, я была на краю бездны! Один неосторожный шаг — и вся моя независимость полетела бы к чертям. Ведь это просто счастье, что Семен Корнеевич был рядом со своим спасительным «фондом». Потому что, признаюсь, в последний миг мне сделалось очень жалко этого Петрушина, похожего на гадкого утенка.

8

Не сомневалась, что ты поступишь. Я очень за тебя рада. Приезжай сюда хоть на несколько дней — отдохнешь перед институтом. Тут чудесно! После прохладной недели с ночными заморозками снова тепло, солнечно. В тайге ни клещей, ни гнуса. Кроны уже в желтых, красных, коричневых пятнах. Приезжай!

А за Юрку ужасно обидно. Уверена, он завалился на вступительных из-за тебя. Истерзала ты его... Ты вот хвалишь ме-

ня за последнее письмо, за то, что «становлюсь личностью». Приводишь себя в пример: «Нужно всегда ощущать себя немного выше других, смотреть на них чуть-чуть сверху. Не свысока, а сверху». Неужели ты и к Юрке так относишься?! И все, что ты пишешь насчет отношений между мужчиной и женщиной... Да, да, я вспоминаю все твое поведение. Ты никогда не бывала с ним сама собой. Когда тебе бывало грустно или тревожно, перед ним притворялась беспечной и веселой. И говорила мне: женщина должна быть для мужчины легкой радостью. А когда мы с тобой вдвоем веселились, хохотали до упаду, стоило появиться Юрке, как ты сейчас же начинала дуться, цеплялась к любому его слову, чтобы придрасться, обвинить бог знает в чем, поссориться. И потом объясняла: парень должен всегда чувствовать себя виноватым перед девушкой. Неужели ты имеешь в виду именно это, когда приводишь в пример свое отношение к Юрке? Это к нему относятся слова: «Девушка не должна выказывать парню свои чувства, она должна его немножко отталкивать и одновременно слегка ему льстить, поднимать его?» Может быть, для Люси или Зоси, про которых ты пишешь, это нормально, такие отношения... Я не читала этих новых романов: тут ведь их не найдешь. Но знаешь, когда все, что я писала тебе в прошлом письме о моей новой позиции в жизни, и все, что ты пишешь о своих правилах, когда я все это прикладываю к людям мне близким, дорогим, все во мне поднимается против. И мне безумно жалко Юрку. Он любит тебя просто, бесхитростно и не заслужил подобных ухищрений. Возможно, оттого он и страдает, что догадывается об искусственности ваших отношений. И если вы будете продолжать дружить и когда-нибудь поженитесь, вам будет стыдно и обидно за такие отношения.

Помоги ему сейчас, когда у него беда. Не занятиями или советами, как отстающему. Тут он сам себе поможет. А участием.

Может, и он приехал бы сюда на несколько дней? Ты поселишься со мной, в моей комнате. Юрку устроим на койке в общежитии при конторе. Покажу вам тайгу! А?



1

Счастливая! Я понимаю твой восторг. Сидеть в аудитории, где до тебя учились великие люди! Внимать премудростям, имеющим значение всемирное, общечеловеческое! Читала твое письмо и даже всплакнула. По сравнению с этим что такое все наши местные события, переживания! События в Елани! Еланы! Крошечный муравейник в тайге! Знаешь, полезно вот так на несколько минут перенестись к тебе в большой город, взглянуть на себя оттуда твоими глазами, чтобы увидеть истинные размеры и масштабы.

А то ведь постепенно теряешь правильное представление. Еще вчера мне казалось, что я тут открыла явление необыкновенное, историческое... В Елани! Представляешь?

Вчера я побывала на участке Петрушина. Шла и волновалась: как-то он меня встретит после нашей ссоры в конторе? Так волновалась, что забыла бояться по дороге — ведь я впервые одна шла через тайгу. Увидела его еще издали — он в каком-то странном, космическом одеянии, в черных лакированных латах торопливо перебежал от дерева к дереву. Подошла ближе и увидела поселкового фельдшера Спицына, который, сидя на земле, внимательно следил за маневрами Петрушина и писал в блокноте.

Фельдшер у пас молоденький, с красными щечками и с пыш-

ными черными усами. Дело свое делает с жреческой торжественностью. Как-то зашла в медпункт перевязать палец — обожгла серной кислотой. Он колдовал над моим пальцем полчаса, прочитал лекцию о первой помощи и записал меня в две огромные книги.

Петрушин и Спицын долго не замечали меня. Фельдшер, взглянув на часы, озабоченно спросил:

— Потеешь?

— Потею.

— Пульс! — провозгласил Спицын, подошел к замершему на месте Петрушину и, закрыв глаза, стал считать пульс. На лице его выразилось страдание. — Сто восемь, черт его подери!



Петрушин откинул капюшон, увидел меня и смущенно улыбнулся, вытягивая трубочкой губы.

— Комбинезон на мне испытывает.

— Кажется, вы и так норму не выполняете! — сказала я сухо.

Вмешался Спицын:

— Так ни к кому, кроме него, не подступишься! Время горячее, минутка — рубль. Никто не соглашается. А мне начало сентября нужно захватить.

Петрушин снял комбинезон.

— Дорабатывай подмышки — тянет, руки поднимать тяжело.

Спицын, хмурясь, завернул комбинезон в оберточную бумагу, перевязал сверток бинтом. Серdito сказал:

— К завтраму переделаю. Наденешь?

— Приходи, опробуем.

Спицын, зажав под мышкой сверток, не попрощавшись, пошел по дороге к поселку. Задержался, обернулся, окликнул:

— А ворот не жмет?

— В самый раз!

Спицын хотел еще что-то сказать, постоял, махнул рукой и ушел.

Мы остались одни. И тут началось это самое открытие. Обстановка вполне подходящая: тишина, неподвижность, вокруг медно-красные сосны с открытой исполосованной грудью, как обреченные. И пристальный, гипнотизирующий взгляд Петрушина. Сердце у меня ни с того ни с сего как заколотится. В голове сумбур и мысли, что вот сейчас произойдет что-то страшное...

— Глядите на кроны! — сказал Петрушин. А я ничего не понимаю, не свожу с него глаз. — На кроны! — повторил он настойчиво.

Задрала голову, увидела сквозь ветви высокое белое небо, блеснувшее крыло самолета. Почувствовала себя такой заброшенной...

— Вот! — сказал с удовлетворением Петрушин. — Эта крона не только шестьдесят процентов от высоты, а и сорока не имеет. А теперь туда, туда смотрите!

Посмотрела, куда он ткнул пальцем, и увидела уступами поднимающийся склон, по которому карабкались вверх великаны в золотистых плюшевых шубах.

— Перестойные деревья! А с них какой выход? И вы с

главным инженером планируете мне выход живицы девяносто четыре грамма на сантиметр диаметра ствола! Теперь видите? Теперь видите?

Петрушин принялся кружить вокруг меня и заклинять:

— Совесть надо иметь! Душу! Голову! Нарочно держать в отстающих. Совесть надо иметь! Бригаду гробить...

Я призналась, что толком не знаю о бригаде — Семен Корнеевич ничего не объяснил.

— Еще бы!

И Петрушин, волнуясь, рассказал мне о своей идее организовать здесь на подсочке комплексную бригаду. Главный инженер над этой идеей смеется. Мол, все лодыри о такой бригаде мечтают. Чтобы за чужой спиной, чужими руками зарабатывать. Петрушин, мол, потому придумал бригаду, что сам работать не может, норму не тянет.

— А почему я не могу? Я могу! Не хуже других! Он нарочно меня в отстающих держит, чтоб люди не хотели со мной работать в бригаде! — кричал Петрушин и трясущимися руками совал мне под нос замусоленную общую тетрадь, которую вытащил из-за пазухи. Оказывается, это дневник, в который он заносит все свои наблюдения.

Петрушин работает здесь третий год. В первый год вкалывал, как все, зарабатывал копеечку, ни про что другое не думал. А год выдался дождливый, живица сквозь кору лезла. На второй год — засуха. Он и прогорел. Но обратил внимание, что не все прогорели. У Сидорова и его жены живица идет на участке как ни в чем не бывало! Стал ходить к ним, присматриваться. Вроде и сосны те же, и крона не шире... В чем же дело? Проскурин надоумил. Ах, зоркий старик! Почва! Вот где секрет. У Петрушина под ногами брусника, у Сидорова черника. А черника — значит, почва жирнее и в засушливый год питает дерево. А в дождливый, наоборот, брусничный лес щедрее. Вот Сидоров с женой в один год вдвоем на один участок наваливаются, на тот, который выгоднее... Тогда ему и пришло в голову, если соединить пять-шесть участков и вздымщикам объединиться, в любую погоду можно брать живицу полной ме-

рой. Потом стал замечать, что каждое дерево имеет свой час для самого большого выхода живицы, свою погоду. Начал вести записи. Составил маршруты обходов на разные случаи.

Рассказав все это, Петрушин отступил на несколько шагов, снова пристально взгляделся в меня и сказал с такой силой, страстью даже, что у меня мурашки по спине побежали:

— Помогай, Вера Иннокентьевна! Сорганизуем на твоём участке комплексную бригаду! До каких пор так можно — один и один, как старатель. Видала, как тайком золотишко моют? Человек, точно зверь, в чащу уходит. Вон Сидоров с Асмоловой Дашку, сборщицу, загоняли — пикнуть боится. Потому, при них зарабатывает. Ей с ребенком без мужа легко ли? За собаку ее считают. А все потому, что каждый за себя старается, до других дела нет.

Слушала, слушала его и вдруг поняла, что он просто-напросто очень добрый человек. Потом шла домой и все думала об этом Дон-Кихоте в латах, с тонкой шеей и утиным носом. Все-таки самое прекрасное в человеке — доброта!

Перечитала начало и вижу — хотела написать совсем другое. Хотела посмеяться. Мне вдруг показались такими ничтожными и я, и Петрушин со Спицыным, комбинезон, комплексная бригада... Как муравьиная возня. А стала тебе описывать, и опять меня это захватило... Мы с тобой потому все ищем смысл жизни, что в нас обыкновенной доброты мало. Может, вся философия родилась оттого, что людям хотелось, чтобы доброты в мире больше стало. А тут человек предлагает средство, и не помочь ему, остаться в стороне? Беречь себя? Для чего?..

2

У нас никаких особенных событий. Несколько дней подряд температура воздуха не поднимается выше шести градусов. Сбор живицы закончился. Вчера утром вышла из дому и ахнула — вся трава посыпана крупной солью. Иней!

Петрушин потащил меня в лес посмотреть участок будущей бригады. Он перетасовал все рабочие участки, составил вари-

анты маршрутов переходов на все случаи жизни и водил меня часов пять от дерева к дереву. То объяснялся в любви к какой-нибудь неприметной сосенке — оказывается, сосна рекордистка. На нее навешивают сразу три воронки. Но характер у нее капризный: усы нужно нарезать лишь под вечер, а брать живицу только ранним утром. То бранил сосну-толстущку, у которой весь режим наоборот. Попробуй разработать рациональный маршрут, чтобы учесть все капризы и в то же время не делать лишних пустых переходов.

Так я умаялась, что, когда мы наконец присели передохнуть, в глазах у меня рябило. Петрушин стал записывать в тетрадь. А я прислонилась к стволу осины, закрыла глаза. Дерево чуть-чуть покачивалось, поскрипывало, листья надо мной тоненько позванивали. Потом из далекой выси донеслись звонкие, гулкие клики. Запрокинула голову и сквозь темно-вишневые листья высоко-высоко увидела четкий пунктир.

— Журавли отлетают, — сказал Петрушин, не отрываясь от дневника.

Только тогда я заметила, как вокруг притих лес. Точно в ожидании листопада, у каждого деревца от ужаса сжалось сердце и застыла в жилах кровь. А листопад уже близок. Все вокруг желто-красно-черное. Особенно красива эта мозаика на склонах, где кроны, одна над другой, ярусами поднимаются до самой вершины.

Осень, а мне весело. Наш дом по вечерам превращается в клуб. То и дело заходит кто-нибудь с моего участка потолковать о делах. У каждого что-то находится: одному недосчитали, другому недовесили, третий по поводу отпуска, четвертый о жилье хлопочет. Петрушин по два раза в вечер заглядывает, сообщает новости: кого уговорил вступить в бригаду, кого нет. Представляешь, Даша отказалась! Значит, ее совсем не обижает, что Сидоровы на ней воду возят. Неужели нет у нее человеческого достоинства? На днях зайду к ней, посмотрю, как живет, поговорю.

Одно у меня огорчение: у Катки в школе не ладится. Простейшие задачки, которые дома при мне щелкала как орешки,

там не решает. Две двойки. Приходит из школы зареванная. Разбираю с ней эти самые задачки, молчит, смотрит на меня испуганными глазами и молчит. Мне самой реветь хочется. А Настасья Петровна весело успокаивает:

— Катька дура, вся в мать. Не переживай.

Встретила на улице учительницу, решила посоветоваться. Но она торопилась домой: муж болеет. Пригласила меня зайти вечером. А мне неудобно к ним домой, ведь она жена нашего директора. Кажется, она намного его моложе. Издали казалась бесцветной. А вблизи рассмотрела — миловидная, просто прелесть. Беленькая, волосы пышные, пучком, и глаза синие, глубокие, грустные. И имя как мечта: Аэлита. Аэлита Сергеевна. Все же придется зайти.

Да, еще. Вчера случилось нечто странное. Перед ужином, входя к себе в комнату, успела заметить, как кто-то метнул через форточку письмо. Я к окну — во дворе никого. Конверт без штемпеля, без марки, без адреса. Написано на тетрадном листе в косую линейку фиолетовыми чернилами, аккуратно, без ошибок. Переписываю послание дословно, можешь повеселиться.

«Дорогая сестра! Пишут тебе возлюбившие тебя. Много было в твоей молодой жизни слез. А будет еще более. Крепись сердцем своим. Не ожесточайся. Помни поучение Апостола святого: благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинаяте. В страдании уповай на братьев и сестер возлюбленных, ибо мы, многие, составляем одно тело во Христе. Знай, всякий час дня и ночи мы возле тебя. Письмо это никому не показывай, иначе будешь проклята и ввергнута в бездну, как дракон. Ибо кто не будет записан в книгу жизни, будет брошен в море огненное в своей второй смерти».

Я посмеялась и швырнула письмо на стол. Пошла к двери. И вдруг воротилась и, смеясь уже над собой, все-таки убрала письмо в чемодан. И хозяйке не рассказала. Путаное создание человек. И понимаю, что глупо, а тревожусь. Впрочем, ты же знаешь, я всегда боялась тринадцатого числа! Так что, пожалуйста, сожги это письмо.

Ты ошибаешься, Петрушин совсем не карьерист, не рвется в командиры, в диктаторы. Может быть, я плохо его описала. Он просто добрый и справедливый человек. Не веришь? Вот и Семен Корнеевич так же.

И совсем уж не ожидала, что тебя возмутит наша комплексная бригада. Никто никого не собирается ни угнетать, ни принуждать — дело добровольное. Ты пишешь, что, наоборот, человека нужно освободить от гнета коллектива. Что петрушинская доброта — это насилие над личностью. А настоящая доброта — это, значит, не мешать другому жить так, как тому хочется. Ну, а как быть с Дашей? И с теми, кто хочет мешать другим? Им тоже не мешать? Не умею ясно высказать, но меня все это ужасно волнует. Особенно Даша не идет из головы. Я ведь побывала у нее дома.

Живет Даша на краю поселка в частном домишке, вросшем в землю по самые окна. Там с десяток таких домиков под обшелыми драночными крышами. Обитают в них какие-то древние старики. Это остатки бывшего здесь прежде села.

Когда подошла к Дашиному домику, оттуда доносился ритмичный глухой стук. Заглянула в окно и увидела за грубым деревянным станком маленькую горбатую старуху. Руки ее сновали. Она то и дело наклонялась, и при этом со стуком опускалась тяжелая рама станка. Она ткала. Ничего подобного никогда не видела. Прошлый век.

Передняя комнатка полутемная, с низким потолком. Единственное светлое место у окна занимает станок. Почерневший, отполированный руками, верно, всех бабок, прабабок и еще многих прапрапра... Видно, сделан топором. В темных углах комнаты — узлы, узлы с какими-то тряпками. Узкая скамья-лежанка покрыта лоскутным одеялом. И совершенно неуместная здесь голая электрическая лампочка, свисающая с потолка.

Старуха, не разгибаясь, зорко смотрела на меня снизу вверх.

— Тебе чего? — проговорила она неожиданно звучным голосом.

Извинилась, что вошла без разрешения. Но ведь я трижды стучалась.

— Так на кроснах шлёпам, рази услышишь!

Я стала с любопытством разглядывать станок, сказала, что видела такой только в музее. Старуха усмехнулась.

— Видела я в музее-то! В Красноярске. Дерьмо! На ём и дырки не свяжешь. А на этом за зиму пятьдесят метров дорожки натку, продам — и жива. Тебе не нужно ли? На пол, басота!

Вполне современная дорожка. Обязательно закажу для тети и для тебя, если захочешь. Я пообещала старухе заказ и спросила о Даше.

— Жиличка-то? Сидит со своим лончаком!

На вопрос, что такое «лончак», старуха посмотрела на меня с удивлением.

— Чего не понять? Лонись растряслась.

Так что решила больше не задавать вопросов и прошла за перегородку к Даше.

Даша, поджав ноги, сидела на кровати, качала на руках малыша. Поминутно целовала его и приговаривала:

— А где мои пальчики? А где мои щечки?

Малыш закатывался хриплым, басовитым смехом и молотил розовыми пятками.

Если б ты ее видела! В длинной ночной рубашке из грубого холста, а ручки, ножки худенькие, острые ключицы обтянуты синей кожей — воробушек! И еще этот толстый малыш, точно кукушонок в воробьином гнезде!

Взглянула она на меня невидящими глазами, снова принялась тискать и чмокать. Я села. Помолчала. За перегородкой с глухим стуком заработал станок. Огляделась — убого. Только детская кроватка нарядная, полированная, с белоснежными простынками и подушечками в кружевцах. А над ней в темном углу черная икона, на которой ничего не разобрать, да зажженная лампада. Душно, затхло. Такая тяжесть мне на сердце накатилась, хоть беги.

Сижу придумываю, с чего начать. Спросила, как звать сына.

Вместо ответа Даша, не поднимая глаз, стала прижимать к себе ребенка, бормотать:

— Чур-чур меня от черного глаза, от злого приказа! Чур меня!..

Я подумала, что она играет, потянулась к ребенку. Что тут с ней случилось! Соскочила с кровати, бросилась в угол, повернулась ко мне спиной, кричит:

— Нельзя, нельзя! Не тронь! — и вся трясется.

Малыш заревел. Я растерялась. Успокаиваю, что пошутила. Смотрит на меня через плечо настороженно, недоверчиво.

— Чего нужно? У меня отпуск.

Объяснила, что зашла просто поговорить. Стала рассказывать о бригаде, расспрашивать, почему отказывается. Как в стенку. Стоит, голову вниз, молчит.

В это время кто-то вошел с улицы. Послышался приглушенный женский голос. Даша встрепенулась. Лицо у нее даже засветилось как-то. Из-за перегородки выглянула старуха.

— Слышь, убираться зовут.

Даша радостно закивала.

— Пойдем, пойдем!

И, не обращая на меня внимания, быстро оделась, укутала сына и убежала, унося его с собой. А я осталась в чужом этом доме в глупейшем положении. Вышла к старухе. Та копалась в ворохе лоскутьев. Стала я расспрашивать о Даше, давно ли живет у нее.

— Вёснусь пришла. Тихая. Сын ўросит — мужчина!

Говорят, предки жителей этого села переселились сюда из России чуть ли не при Иване Грозном. И я услышала, как говорили на Руси пятьсот лет назад! Так странно сегодня услышать эти старинные слова в живой речи. «Лонісь» — значит, прошлым годом. Отсюда и лончак — жеребенок, родившийся в прошлом году. «Уросит» — значит, своенравничает. И какая музыка эта речь! Совсем иная, чем у Настасьи Петровны. У старухи речь течет плавно, переливается из слова в слово. А слова неспешные, широкие. Вот жаловалась она мне, например, что дом разрушается:

— Лёжни погнили, заплот не зна когда повалило. Похлопочи, пускай твои рубаки мне стаечку срубят!

Стаечка — хлевушок. А «рубаки» она, по-моему, тут же при мне и придумала. Правда, чудесное слово? В нем и усмешечка, и симпатия, и еще что-то... Доброе слово!

Но что самое поразительное — как эта пятисотлетняя старуха о Даше говорила:

— Девонька она ох темная! Дивья кабы старая. В молельню повадилася!

Оказывается, прошлой зимой объявился в этих местах «батюшко», не старый еще, весь обросший, поселился в землянке в лесу.

— Ходила его смотреть. Матёреушший батюшко-то! Чистый лешак. Как стребанет из своей землянки, руки кверху и пузом в снег. Лежит, молитвы баит. А народ кругом стоит смотрит. Вот с зимы девонька и повесила себе в кут доску. Околдовали ее кудесами всякими, ижно совестно. В завозне молельню устроили. Она там у них безответно скребет и моет, пособница! Эко лихо!

Как видишь, старуха вполне сегодняшняя.

А вечером нашла на подоконнике новое послание. Записка, сложенная корабликом.

«Кто приходит к вам в дом и не приносит сего учения господа нашего, того не принимайте в дом и не приветствуйте его».

Это значит, чтобы я к Даше не ходила. Что ж, оставить ее, не мешать? И ведь какая сила — религия! Как Даша вся засветилась, когда ее позвали молельню убирать!

И меня не оставляют в покое. Может, и меня надеются заполучить. Ой, жутко... А ты говоришь: не мешать. Разве это доброта?

4

Ты и представить себе не можешь, что это такое — листопад в тайге! Когда нет ветра, тайга неподвижна. Листва опадает незаметно для глаза, с едва слышным, нежным шорохом. А про-

несется легкое даже дуновение, и тогда сплошная завеса косогонимых листьев, сплошной сухой шум вокруг. Под ногами быстро растут мягкие, сырые, пахнущие осенью бурные кучи листьев. И вот уже лес вокруг сквозит. И во всем этом нет ни ужаса, ни смерти, а только новая красота.

Директор сказал, что вопрос о комплексной бригаде решит после того, как мы представим все расчеты. Сижу целыми днями с главным бухгалтером Федором Павловичем — разрабатываем новые нормы. Письмо пишу тебе в перерыве, пока Федор Павлович ссорится со счетоводом по поводу очередного отчета. Поглядела из окна на лес, и захотелось тебе эту красоту описать.

С ветвей за мной подсматривает синичка. Остальные птицы уже улетели. Охотники сообщают, что на днях и гуси отбыли. Так что скоро зима. Скоро бригаде в лес идти — окорять деревья. Если, конечно, директор все это одобрит... Как я только подумаю, какую ответственность беру на себя, так сердце замирает. Правда, никакой Америки мы не открываем, кое-где в химлесхозах уже работают таким комплексным методом. Но здесь, в наших условиях, это впервые. И главное, с нашими людьми! Ведь записались в бригаду совсем не самые лучшие. Кирпонос, который хотя работает как зверь, пьет тоже зверски. Лодырь и симулянт Мерич. Матерщинник Каюров. Остальные четверо, к счастью, вполне нормальные люди. Я тебе о них еще не писала. А Сидоров с Асмоловой и Даша так и не согласились. Мне кажется, все с интересом ждут, что получится. Семен Корнеевич не мешает, лишь ходит подтрунивает. Только возчик Кузьмич вчера, отдавая привезенное со станции твое письмо, таинственно зажмурил глаз и погрозил кривым пальцем, измазанным дегтем:

— Доиграешься с этой бригадой! Брось!

Зато уж Настасья Петровна рада! Ей лишь бы побольше народу в доме толклось. Всех поит и кормит. Мерич, по-моему, этим пользуется. Каждый вечер является, присаживается на краешке стула с видом мученика и начинает рассказывать что-нибудь веселенькое о своей язве. Изображает в лицах:

— Характер у язвы хитрющий, сатапинский, как у бабы. Сперва она тихопечко, ласково этак зудит и свербит — еды просит. Есть начнешь, притаится, вроде бы и нет ее. Это она заманивает: давай-давай наедайся, нету меня, сгинула, истаяла... А набьешь брюхо, тут она себя показывает: здесь я, туточки, при тебе, мой ненаглядный! И за печенку дерг, за селезенку дерг! Потом поперек живота клещами кы-ик ухватит! По полу катаешься, криком кричишь. Одна только водка и успокаивает.

Но человек он одинокий, всеми обиженный: кто позаботится, кто поднесет?

Настасья Петровна послушает, послушает, пригорюнится. И тащит ему водку и закуску. Сама за компанию выпьет, чтобы ему одиноко не было.

Частенько заходит и Кирпонос, узнать, не вернулся ли Петрушин. Он улетел ненадолго на Украину: мать проведать. Узнав, что Петрушина еще нет, долго стоит на пороге молча, загораживая вход, как шкаф. Настасья Петровна может и с ним часами разговаривать, хотя Кирпонос упорно молчит.

Вот только Каюрова Настасья Петровна не пускает: не терпит матерщины. Так просто и гонит: «Иди, иди, бранчуга! Одна порча детям!» — подразумевая под детьми и Катьку и меня заодно.

Каюров покорно уходит и потом весь вечер шатается под окнами, бормоча свои вариации.

В бригаде двое новых, муж и жена Доброхотовы. Прежде они работали на подсочке где-то в Карелии. Надоело, говорят, захотелось на старости лет Сибирь поглядеть. Люди пожилые и основательные. Походили, осмотрели участки, договорились насчет жилья. Бригада их не смущает, в Карелии так уже работают. Сейчас поехали на старое место за имуществом.

А вот Искандер Файзуллин и Глаша — здешние Ромео и Джульетта. Глаша дочь лесника Демьяныча, которого заглазно все кличут Девяткой. На крыше его дома выложена громадная белая цифра «9» — номер участка, ориентир для почтовых самолетов.

Демьяныч, узнав, что дочь полюбила татарина, бил ее под-

пругой страшно, предупредил, что, если не оставит своего Искандера, совсем убьет. Несколько раз видела его издали — угрюмый, мрачный старик.

Глаша не побоялась, ушла к Искандеру. Она стройная, гибкая, сильная, глаза зеленые — настоящая дикая кошка. А Искандер никакой не красавец особенный — голова круглая, глаза черные и весь как колобок. Приехал сюда года полтора назад, на летний сезон, денег подзаработать. Увидел Глашу и остался. Парень он застенчивый, безответный, все только вздыхал, ходил за ней молча. А как узнал про избиеение, на прошлой неделе увел и свадьбу сыграл. Старик вокруг с ружьем бродил, так они окна завесили и двери на запоре держали, пока гуляли.

Мучает меня один вопрос, покоя не дает: почему такие разные люди идут в бригаду? Какой у них у всех расчет? Ну, у Мерича еще понимаю: чужими руками работать. Заработок? Кирпонос и так рекорды ставит. А остальные? Что-то одно общее их привлекает или у каждого своя выгода? Если этого не понять, нельзя руководить...

И что я себя терзаю! Ведь не я отвечаю за бригаду, а Петрушин. Он должен обеспечивать план и укладываться в фонд заработной платы. Но почему-то не могу не тревожиться. Вообще, с тех пор как я сюда приехала, я, как снежный ком, непрерывно обрастаю обязанностями, заботами, как будто я и вправду в каком-то всеобщем долгу!..

Идет Федор Павлович. Сейчас снова засядем за расчеты, снова дотемна. Скорее бы уж Петрушин возвратился!

5

По поводу Петрушина напрасно упражняешься в остроумии. У меня к нему товарищеское отношение с примесью жалости. У меня к нему, если хочешь знать, материнское чувство. Ладно, ладно, веселись. Так и вижу, как ты валишься на тахту, машешь руками и плачешь от хохота. Правда, он совсем ребенок. Семена Корнеевича он невзлюбил, так тот для него уже последний человек, скопище всех человеческих пороков и

недостатков, исчадие ада. А вот все члены его бригады — лучшие люди на земле! Сегодня, когда мы с ним разбирали новые пормы и прикидывали, кто сколько сможет выработать, он даже Мерича в ангелы произвел. Видишь ли, симулирует тот для того, чтобы его пожалели, приласкали, по любви тоскует. Кирпонос тоже пьет от любви к людям. И вообще все записались в бригаду исключительно из любви к человечеству! Он ужасно доверчив. Поэтому у меня ощущение, будто я старше... Хотя он даже пожилой человек, ему двадцать семь лет.

Ты пишешь, что Петрушин тебе представляется восторженным дурачком, Настасья Петровна дурашливой, Катька тупицей, Кирпонос... В общем, все дураки! Неужели это я их так описала? Или ты нарочно? Чтоб доказать мне, что я «разменялась на мелочи», как ты пишешь. Почему ты считаешь, что я растворяюсь в окружающем, утрачиваю индивидуальность? Потому что ничего не пишу о себе, о своих мечтах, о прочитанных книгах... Ты в ужасе! Хочешь опровержений. Думаешь, будто я что-то скрываю от тебя... А я действительно растворилась в окружающем. И ни о чем не мечтаю. И даже читаю-то гоголевские «Вечера» по три страницы на ночь. Это единственная книжка, которую я обнаружила в нашем доме. Так что, если, по-твоему, коллектив подавляет, обедняет, то на мне это блестяще подтверждается: я «духовно обнищала».

А какое духовное богатство было у меня раньше? Раньше меня занимали почти только мои собственные переживания. Я прятала их от всех. Тебе нравилась моя скрытность, загадочность моей натуры. Вообще в твоём кружке мы все были загадочные, глубокие, особенные. Мне тоже это ужасно нравилось. И то, что у нас был девиз из Тютчева: «Молчи, скрывайся и тай...»

По вечерам я любила оставаться одна дома. Мечтала. Чувствовала в себе нечто особенное, глубокое, великое... Воображала себя Софьей Ковалевской, Жорж Занд, балериной, просто красавицей... Ужасно любила эти самопогружения.

И вот все это ушло. Теперь я весь день в чужих делах. И сплю как убитая. И почему-то это «обнищание» меня совсем

не мучает! Хотя, по-твоему, я должна была бы терзаться, так как в коллективе постоянная борьба: коллектив хочет каждого подавить, а каждый хочет сохранить свою индивидуальность...

А что думает обо всем этом Юрка?

6

Вдогонку. Днем отправила тебе писульку. А вечером опять пишу, не могу не писать. Полна душа! Только что мне приоткрылось в жизни человеческой такое, такой свет и простор... Еще утром мне казалось: это и есть счастье, как я теперь живу. Но теперь-то я увидела настоящее счастье. И во мне прямо-таки бурлят и радость, и зависть, и надежда... Ты, конечно, ничего не понимаешь. Так слушай: я была в доме у директора и его жены. Хотя знаешь что? Опишу тебе мое посещение, и ты сама увидишь. Нет, счастье не в том, как живешь ты, не в том, как живу я... Опять отвлеклась! Ладно, буду описывать спокойно, без эмоций.

Пошла я посоветоваться с Аэлитой Сергеевной относительно Кати. Явилась к ним засветло. Посреди комнаты в кресле, обложенный подушками, Василий Мефодьевич. Очень исхудал. Глаза провалились, совсем спрятались за черными, мохнатыми бровями. Под глазами коричневые пятна, лицо землистое. Улыбнулся:

— А-а, химику!

Но в голосе, в улыбке что-то беспомощное. У меня сердце сжалось. Испугалась, что он заметит, весело поздоровалась. Ни с того ни с сего заговорила о погоде, о плане, стала какую-то книгу на столе листать.

Вышла Аэлита Сергеевна, приветливо поздоровалась, зазвала к себе в комнату. И вот мы сидим на тахте в солнечной комнате, оклеенной пестрыми обоями. Книжные полки сплошь уставлены книгами. Гитара. Аэлита Сергеевна в отглаженном светло-зеленом халатике с белым воротничком. Шейка у нее тоненькая, трогательная. Сидит прямо, сцепив на коленях пальцы. Смотрит строго.

— Знаю, девочка росла без отца. Мать очень неорганизованная. Девочка не привыкла систематически работать. К тому же до нашего приезда тут полгода не было учителя. Девочке трудно.

Я расхвасталась: и подход к Кате я нашла, и примеры для нее сочиняю, и сама с ней решаю... И жду, сейчас она от умиления слезами обольется, благодарить кинется... Как ты думаешь, что она сказала?

— Конечно, только недавняя школьница могла так неумело поступить!

Я заливаюсь краской — ведь в соседней комнате все слышно. А она безжалостно свое:

— Самое легкое — решать за нее. Девочка подражает, а принципа не понимает. Основ у нее нет. С ней нужно заниматься простыми примерами, чтобы она училась думать.

— Не подозревала, что мне придется здесь снова поступать в первый класс! — Это я в виде легкой шутки и со слезами в голосе. Обиделась.

Аэлита Сергеевна понимающе кивнула.

— Мне самой трудно снова входить в психологию этого возраста. Ведь я вела математику в десятых классах.

— И вы променяли математику на Еланы!

В ту же секунду я уже горько пожалела об этих словах. Я увидела, как жалко дрогнули губы у Аэлиты Сергеевны. Но она еще больше выпрямилась.

— Так вот, пожалуйста, занимайтесь с девочкой по плану, который я вам дам, или оставьте ее совсем, не мешайте мне.

У меня было чувство, будто меня поставили в угол.

— Эй вы, педагоги! — весело прокричал из-за двери Василий Мефодьевич. — В первом классе нужно начинать с алгебры! Аэлита Сергеевна сердито посмотрела на дверь.

— Не вмешивайся в то, чего ты не понимаешь!

— А в «Учительской газете» пишут...

— Очередные крайности!

Я подумала, что мне пора исчезнуть. Мы вышли в общую комнату.

Стол был накрыт к чаю — и варенье, и печенье, и пирог! Василий Мефодьевич по-прежнему сидел в кресле, точно не имел к этому никакого отношения, и изо всех сил сдерживал одышку.

— Вася! — Аэлита Сергеевна даже покраснела от возмущения.

— Что, Аля? — с невинным видом спросил Василий Мефодьевич. Но не выдержал и закатился своим детским смехом.

— Ничего смешного! Глупо и безграмотно. К чему же ты читаешь всю эту медицинскую литературу? Чтоб делать все наоборот? Там на каждой странице рекомендуется физический покой, а ты...



— Видишь ли, Аля, — Василий Мефодьевич перевел дыхание и сделал серьезное лицо, — глубокое заблуждение думать, что медицина — наука. Медицина — это религия...

— А ну тебя! — отмахнулась Аэлита Сергеевна. Обняла меня за плечи. — Верочка, давайте чай пить.

И начался удивительный вечер, о котором я и хочу тебе рассказать. Понимаешь, собственно, как будто и рассказывать не о чем... Просто мы сидели за столом, прихлебывали чай и говорили, говорили... Что кому на ум приходило. Они понимали друг

друга с полуслова, с одного взгляда. И мне казалось, что и я участвую в этом. Над каждой шуткой Василия Мефодьевича я хохотала до слез. У Аэлиты Сергеевны при этом только особенно вспыхивали ее чудесные печальные глаза да пробегала змейка у рта. За эту лукавую змейку я б ее так и расцеловала. Ни одной шутки пересказать тебе не могу, сами по себе слова вроде бы и не смешные. Но тогда все было так к месту, сам он так простодушно смеялся над своими остротами, что нельзя было не засмеяться в ответ.

И я растаяла, разговорилась. Теперь мне кажется, что я трещала весь вечер. Но мне было так хорошо... Когда я рассказала о Даше и о попе из таежной землянки, Василий Мефодьевич внезапно распалился:

— Вот видишь, Аля, у этого типа уже популярность. А ты его жалеешь!

— Психически больной человек.

— Чепуха! Комедиант. И вредный комедиант! А люди приходят смотреть и часами стоят с серьезными лицами. Приношения всякие...

— Обыкновенное сострадание.

— Севрюгу приносят! Севрюга — сострадание?! — Василия Мефодьевича эта рыба почему-то особенно раздражила. — Пустынный этот, столпник, понимаешь, блаженненький, севрюгу лопают!

Аэлита Сергеевна, улыбаясь, стала накладывать мне варенье.

— Верочка, знаете, из-за чего он кипятится? Он — обжора, любит отварную севрюгу. Но ему-то никто не несет...

— Попробовал бы какой-нибудь браконьер явиться! — с угрозой перебил он и сделал страшное лицо.

— А попу тащат. Зависть!

Василий Мефодьевич стукнул ложечкой об стол.

— Превращаешь в шутку важнейший вопрос!

— Ты преувеличиваешь опасность, Вася! — сказала она тоном терпеливой няньки. И стала объяснять урок: — Пятьдесят лет просвещения, научная пропаганда, радио, газеты — не мо-

жет же это быть слабее детской сказочки о трех китах и святой троице! Это ясно, как... как...

— Как Пифагоровы штаны! — выпалил Василий Мефодьевич и закатился так, что я испугалась, как бы он не задохнулся. — О господи, уморишь ты меня! — проговорил он, переводя дух и вытирая слезы. — У этих математиков мир вместо трех китов стоит теперь на трех аксиомах. Та же Библия. А они довольны — все объяснили!

— Ты не веришь в человеческий разум? — обиделась, в свою очередь, Аэлита Сергеевна.

— Верю, верю. Но Эйнштейн же вам показал, где раки зимуют! Куда подевались теперь ваши аксиомочки? А? А-а!.. — Он с ехиднейшим видом стал потирать руки, готовясь к новой атаке.

Аэлита Сергеевна внимательно посмотрела на него.

— Верочка, вы любите музыку? У нас есть пластинки с эстрадными песенками.

Я призналась, что не люблю современных песен. Василий Мефодьевич пришел в восторг.

— Аля, тащи гитару, спой ей Гурилева!

Аэлита Сергеевна тотчас принесла гитару, присела возле стола, запела. Пела она тихим, слабым голосом, но таким нежным и музыкальным, что меня прямо-таки захлестнуло. Это был романс «Матушка-голубушка».

Василий Мефодьевич слушал ее, прикрыв глаза, на лице его блуждала улыбка. А при словах:

То залетной птишечки
Песенка слышна:
Сердце замирает,
Так сладка она! —

глянул на нее так, что все в душе у меня перевернулось.

Потом он попросил еще «Сторожа». Этой песни я никогда раньше не слышала. Про деревенского сторожа, который всю зимнюю ночь бродит по улице и бьет в чугунную доску. Ему холодно, одиноко и тоскливо. Она пела, и я видела все — и широкую деревенскую улицу, заваленную белыми сугробами, и

злую метель, и сгорбленную фигуру в зипуне и валенках. Слышала скрип шагов, мерные удары колотушки. Пела она строго, печально. И хотелось сейчас же что-то сделать для этого одинокого, всеми оставленного старика: обогреть, накормить...

Когда она кончила, Василий Мефодьевич серьезно посмотрел на меня и сказал:

— Слова Огарева. Того самого, сподвижника Герцена. — И вдруг, как будто без всякой связи: — Двадцать пять лет назад, сразу после войны, мне все казалось проще.

И я тотчас поняла! Да, да, я уверена, что поняла, почему он так сказал. Потому что и у меня пронеслось вихрем это: декабристы, Петербург в сугробах, эшафот, и потом, Герцен и Огарев там на Воробьевых горах, и Чернышевский на площади у столба, и революция... И все мечты и непреходящая боль за этого убогого старика на ночной деревенской улице... Он хотел сказать, что мечты проще действительности, что жизнь сложнее.

— Мог ли я думать тогда, после Девятого мая, на дымящихся улицах Берлина, что кто-то чего-то еще не понял, что через двадцать пять лет девчонка Дашка повесит у себя в комнате икону?!

— Даша — это исключение, Вася...

— Знаю, знаю, а исключение подтверждает правило! — Он невесело рассмеялся. — Правила, правила! Когда твои огольцы путают правила, ты ставишь им двойки. И все! И на следующем уроке они уже повторяют запятую в запятую. А как в живой жизни быть? Кирпонос пьет водку. Поставить двойку? Десятиклассники, помнишь, приходили к тебе с заявлением, что их не устраивают школьные порядки, требовали, чтобы им разрешили курить. Опять двойка? Нужно понять, понять, почему это есть! Только тогда можно найти верное решение...

На лице его выразилось такое страдание, что я подумала: приступ!

— А я торчу в этом кресле и сосу таблетки! — Он стукнул кулаком по столу, опрокинул чашку и пролил чай.

Аэлита Сергеевна с деловым видом, точно это в порядке ве-

щей, принесла тряпку, принялась вытирать клеенку. Василий Мефодьевич сердито выхватил у нее тряпку и стал сам ожесточенно тереть.

И тогда я рассказала им о тебе. О нашей дружбе. О нашем кружке. О спорах про смысл жизни... Понимаешь, вдруг увидела все это со стороны. Как тебе объяснить?.. Вдруг поняла, что все эти наши мысли, переживания, стремления, даже наша с тобой переписка — это не выдумка твоя или моя, это существует. И не случайно. Есть же какие-то причины! И почему мы так думаем и поступаем — я, ты, он, нужно так же понять, как и то, почему дует ветер и идет снег. И тогда что-то прояснится и мы поймем, что правильно в нашей жизни, что нет и что нужно делать... Я говорила взхлеб, перебивая себя, так же путано, как сейчас пишу.

Василий Мефодьевич слушал меня, широко раскрыв глаза и тихонько поддакивая. Аэлита Сергеевна убрала со стола, усеялась в углу с вязаньем и тоже слушала. Остановилась я, только когда увидела, какой он бледный и как устал.

Мы очень долго молчали.

— Я знаю, что мне нужно делать,— тихо сказал Василий Мефодьевич.

Аэлита Сергеевна насторожилась.

— Да, да, Аля, вполне по моим возможностям. Пока тянется этот нудный курс лечения. Кроме того, у меня же до сих пор нет постоянного партийного поручения. Мне и самому интересно, Аля...

— Что ты еще придумал?

— Буду вести кружок по философии. Для желающих. А? — и посмотрел на меня хитро-хитро.

Возвращалась в темноте. В окнах повсюду горел свет. Где-то в конце поселка пьяные голоса орали песню. Вышла к реке, долго стояла на берегу, в крошечной мгле. И думала: в чем секрет счастья, которым полон этот дом? Стоит этот домик в одном ряду с десятком других — с улицы не отличишь. А как будто в самом центре мироздания...

Ужасно хочу счастья!



1

Не обижайся, писать некогда — идет окорение! Директор разрешил петрушинскую бригаду как опытную. Все дни теперь провожу в лесу. От того, какие выбрать для подсочки деревья, как снять кору, зависит успех будущего сезона.

Тетя пишет, что Юру призвали в армию. Это правда? Почему же ты ни слова об этом?

2

Срочно! Достань в медицинском институте программу для подготовки к вступительным экзаменам и шли мне. Не откладывай. Это для Спицына. Я тебе писала о нашем фельдшере-изобретателе. Так вот, он решил все бросить, подготовиться за зиму и уехать учиться. И правильно сделает. Если человек отдает людям всю душу, а они ему за это в душу плюют!.. Тогда к черту!

Ты подумай, такое нужное дело делал человек! Ведь теперь-то я вижу, как он был прав с этими комбинезонами. На участках прошлого сезона повсюду брызги сернокислотной пасты — на кустах, на почве. Недавно прошли дожди, растворили серную кислоту, и маслянистые лужи эти жгут сапоги, брызги попадают за голенища, на одежду, на кожу. Сейчас выпал первый снег. Но днем тает, и стало еще хуже.

Мы с Петрушиным мечтали одеть бригаду в новые комбинезоны. Спицын взялся бесплатно спать на всех, специально ездил в Красноярск, достал отходы хлорвиниловой пленки. И вдруг катастрофа! Из нашего поселка в район пришла на Спицына анонимная кляуза. Его обвинили в том, что он не выполняет свои прямые обязанности, а в рабочее время шьет плащи и комбинезоны на продажу! И районное начальство без всякого разбора дела переводит его на другой пункт, за триста километров отсюда.

Больше всего возмущает, что написал кто-то свой. Петрушин, конечно, видит в этом подкоп под бригаду. Чепуха! Кому и в чем бригада может помешать?! Но даже если тот, кто писал, считает, что Спицын жулик, это еще хуже! Не знать человека, который прожил у них два года, чья жизнь у всех на глазах! А Проскурин по этому поводу высказался в своем духе:

— У людей ни одно доброе дело не остается без наказания! Всякий человек хитрит и потому во всем видит хитрость!

И вот Спицын уезжает. И бригада Петрушина остается без комбинезонов. Нет, не может быть, чтоб человеку за добро злом платили! Есть же справедливость на свете!

Василий Мефодьевич болеет, его нельзя тревожить. Пойду к Семену Корнеевичу, уговорю его вмешаться.

А программу не задерживай, я Спицыну перешлю. Он имеет право поступить в институт, стать врачом. Может быть, больше, чем кто-нибудь другой.

3

С программой можешь не торопиться. После разговора с Семеном Корнеевичем Спицын решил, что никуда из тайги не поедет, пока не внедрит свой комбинезон.

Но Семен Корнеевич! Ну тип! Начинаю подозревать, что Петрушин кое в чем прав.

Вечером, перед отъездом Спицына в район за новым назначением, мы с ним пошли к Семену Корнеевичу. В доме могильная тишина, вся семья за столом. Нас провели в общую комна-

ту — гостиную с закупоренными окнами, наглухо заставленными цветочными горшками, с крашеным полом, застеленным газетами. Отсюда мне был виден выскобленный добела непокрытый стол, спина и затылок Семена Корнеевича, его оттопыренные хрящеватые уши,двигающиеся в такт еде, унылый профиль жены Марфы Евсеевны. Детей мне не было видно, но когда кто-то из них громко стукнул ложкой по тарелке, я увидела, как замерли уши и напрягся затылок Семена Корнеевича, и он тихо произнес:

— Мешаешь!

И тишина за обеденным столом сделалась еще более гнетущей.

Не заметила, когда они там кончили есть,— увидела в окно: дети стремглав пронеслись через двор на улицу. Марфа Евсеевна просто растаяла. А Семен Корнеевич вышел к нам.

Он огогнул завернувшийся лист газеты на полу, переставил стул, осторожно присел на громоздкий сундук в углу.

— Что случилось, молодежь?

Я рассказала о том, как наша бригада заинтересована в предложении Спицына, о его бескорыстии, стала возмущаться, требовать справедливости. Спицын сидел понуриив голову.

Семен Корнеевич выслушал, помолчал.

— Так, понятно, Иннокентьевна у нас все законы знает. Спецовка, конечно, нужна, предложение полезное. Но откуда у тебя, Спицын, эти отходы взялись?

— Сам за ними в край ездил,— сказал Спицын, не поднимая головы.

— «Сам»! — неодобрительно повторил Семен Корнеевич.— Купил у кого?

— На фабрике отдали обрезки, отходы...

— За так отдали,— сказал Семен Корнеевич с какой-то странной интонацией и покачал головой.— Ну, а то, что насчет корысти написали, это от зависти.— Он обратился ко мне: — По министерству объявлен конкурс на лучшую спецовку для вздымщика. Премия в две тысячи рублей. Кусочек хороший. Кому не хочется?

Спицын с удивлением посмотрел на главного инженера.

— Какое это имеет отношение?..

Семен Корнеевич нахмурился.

— Народ же слышит, что ты в рабочее время на швейной машинке строчишь...

— Так я ради них же, чтоб они не болели! — Спицын пунцово покраснел, и усы у него задергались.

— Ага, ага.— Семен Корнеевич понимающе закивал.— И премию ты для них же зарабатывал?

— Нет, вам, вам на блюдечке принесу!— вдруг вскричал Спицын и, путаясь ногами в газетах, выбежал из комнаты.

Семен Корнеевич смотрел на меня с усмешечкой и молчал. Я спросила, будет ли он защищать Спицына.

— Нет,— сказал он жестко.— У него свое начальство.

Спицын ожидал меня на улице.

— Что ж,— говорил он, дергая усами и отворачиваясь,— если премия, так я из-за денег, что ли? Ну, премия. Ну, дали бы, учиться б поехал... Да я об ней и не вспоминал, когда дни и ночи... десять вариантов перешивал...

Мы с ним долго гуляли по белой от снега пустынной улице. Подморозило, снег под ногами скрипел. Спицын, в куртке нараспашку, наскакивая на меня, горячо говорил, что он все равно этот комбинезон не оставит, что это дело его жизни и он ни за что в институт не уедет, пока не закончит, и что он всем, всем на свете докажет!..

И Спицын уехал.

А что ты скажешь о Семене Корнеевиче?

4

За программу спасибо. На днях переправлю ее Спицыну. Оकरणе идет нормально. Пока снега немного и хвойный лес зеленый-зеленый стоит на белой скатерти.

Ты спрашиваешь о взаимоотношениях в бригаде. Никаких взаимоотношений. Все выкладываются, торопятся успеть до глубокого снега.

Когда общая работа, общая ответственность, нет места и времени для всяких личных переживаний и пережевываний. Сужу по себе. Все мои переживания, все горести, с которыми я жила годы, в которых не признавалась даже тебе, все ушли куда-то в прошлое, померкли... Мне очень хорошо!

Сегодня увидела белку в серенькой шубке. В березняке. Бежала по голым ветвям высоко надо мной, торопилась куда-то по своим делам...

5

В бригаде ужас! Полный развал! Неужели и я и Петрушин — мы ошибались?! Несколько дней не могла собраться с силами написать.

В воскресенье днем прибежал ко мне Петрушин, бледный, с трясущимися губами.

— Иннокентьевна, идем на хоздвор, погляди, что этот изверг выделявает.

Издалека был слышен треск и звон на хозяйственном дворе. Время от времени оттуда доносились перекаты не то грома, не то пушечной пальбы. Над всем этим висел какой-то нескончаемый дребезжащий звук. Туда отовсюду бежали люди.

Картина мне открылась страшная. Кирпонос, с белым лицом, без пиджака, в изорванной рубашке, бегал по двору, размахивая здоровенной кувалдой и круша что попадалось на пути. Измятые железные бочки от серной кислоты с грохотом катались по двору. Кирпонос их догонял и пушечным ударом гнал в другую сторону. Деревянные бочки разлетались в щепки. Дверь на складе была сорвана с петель, и внутри все перевернуто.

Тут я углядела Кузьмича. Он сидел на крыше склада и гнусавым голосом тянул какую-то дикую песню. Это и был тот непонятный дребезжащий звук, который я слышала издалека. Иногда он обрывал песню, свешивался вниз и истошно вопил:

— Давай гуляй, ведьма горбатая!..

Оба были пьяны до ужаса. Когда Петрушин попытался су-

нуться во двор, Кирпонос пошел на него со страшными слепыми глазами, вертя кувалдой, как пращой. Кажется, я закричала от страха.

В тот же миг все стихло — Кирпонос отбросил кувалду и остановился среди двора, раскачиваясь. Я решила, что это я его укротила, смело шагнула вперед. И вдруг резкий окрик:

— Вера, назад!

Оглянулась — Василий Мефодьевич! Он медленно шел, спокойно, изучающе глядя на Кирпоноса. Кирпонос как загипнотизированный все больше и больше клонился ему навстречу, наконец рухнул плашмя и остался лежать недвижно. Василий Мефодьевич присел рядом с ним на железной бочке и стал с силой, со свистом втягивать в легкие воздух, плечи его судорожно поднимались, лицо посинело. Наброшенное на плечи пальто свалилось, и он остался на ветру в пижаме, в домашних туфлях на босу ногу. Стоило кому-нибудь приблизиться, чтобы помочь, он сердито качал головой и отмахивался, не в состоянии вымолвить ни слова. Во двор вбежала Аэлита Сергеевна, метнулась к нему. Он встретил ее измученной, виноватой улыбкой, схватил за руку и затих, успокаиваясь. И мы все стояли вокруг, боясь пошевелиться.

Но вот синева отлила от лица, он задышал ровнее, легче. Огляделся по сторонам, покачал головой. Проговорил слабым голосом:

— Ах, дурень, ах, дурень...

Запыхавшись, видно издалека, примчался Семен Корнеевич. Сразу распорядился унести бесчувственного Кирпоноса. Накинул Василию Мефодьевичу на плечи пальто, выделил в помощь провожатых. Тут же стал организовывать расчистку двора.

— Семен Корнеевич, этого Илью Муромца, как только проспится, пришли ко мне! — сказал Василий Мефодьевич уже, как обычно, полным, веселым голосом. И, отмахнувшись от провожатых, пошел рядом с Аэлитой Сергеевной к дому.

Поздно вечером, уже легла, в стекло кто-то царапается. Выглянула: под яркой луной, прижавшись спиной к стене дома, —

Кузьмич. Ноги его не держат, все время соскальзывает вниз и, перебирая руками, снова лезет вверх по стене. Бормочет:

— Сволочь я, сволочь! Правду Митька говорит, ему верь. А я кто? Черт одноглазый! Черту и проданся! Убей гада одноглазого, один конец!..

Он отделился от стены и пошел, спотыкаясь и бормоча.

Запой Кирпоноса подкосил петрушинскую бригаду сильно. Тут и выявилась ее слабость. Все мои индивидуальные вздымщики вышли на окорение своих участков нормально: пользуясь хорошей погодой, за день полторы нормы дают. А в бригаде все разладилось. Кирпонос подвел семь человек, парализовал работу на пяти участках. Обязанности в бригаде на окорении были распределены так: один ведет учет окоренных деревьев, контролирует разбивку участка, наносит участок на карту. Две сборщицы разбивают участки, устанавливают всякие знаки, помечают границы. А пять вздымщиков ведут окорение. Кирпонос, как самый опытный вздымщик, был назначен Петрушиным на учет, на контроль за качеством окорения. Очень важно, чтобы окоренная поверхность была установленных размеров, чтобы не нарушить нагрузку на дерево. Кору следует снимать осторожно, чтобы не задеть луб... В общем, подробности тебе не интересны, но дело это крайне ответственное.

И пришлось Петрушину временно взять на себя и учет и контроль, а другим увеличить норму. А им и без того полагается окорить за зиму почти по десять тысяч деревьев!

И вот тут второй удар — Мерич. Сперва он целые дни хныкал, хотя не выполнял и собственной нормы, что дополнительная нагрузка сводит его в могилу. Стоило ему завидеть меня издали, как он тотчас же бросался на землю, принимался потирать себе живот, стонал и глотал таблетки. А когда я приближалась, делал удивленные глаза:

— Извиняюсь, товарищ мастер, не заметил. Курс лечения! — и со вздохами, скрючившись, брался за работу.

А вчера, в субботу, вызывал меня и Петрушина в контору главный инженер. В кабинете у него Мерич, как обычно, с видом смертника.

Семен Корнеевич, не отрываясь от бумаг, кивнул в его сторону:

— Просится на другой участок, к Проскурину.

Петрушин за моей спиной засопел, оглянуться на него мне было страшно. Воцарилось долгое молчание.

Наконец Семен Корнеевич поднял голову, и тут в глазах его я увидела выражение... странное выражение, которое тотчас же исчезло — он сморгнул его. Что-то плотоядное, лисье что-то. Он огорчился, что показал это выражение. Нахмурился и сердито приказал Меричу:

— Объясняй!

Мерич сморщился так, будто ему дали понюхать нашатырный спирт.

— А что объяснять-то, что объяснять? Человек раз в жизни живет. И, значит, имеет право жить в удовольствие. Потому, другого раза уже не будет. А я? Я же не живу, я мучаюсь. Язва гложет, радикулит грызет. И с таким гнилым организмом меня заставляют надрываться! Выполняй за себя, выполняй за этого борова Кирпоноса, покудова он спирт глушит. И еще ругают: план я им срываю. А что я с этим планом заработал за две недели? Дырку от пуговицы! Это при моем диетическом питании. Когда я спекулянту за кило яблок три рубля выложи! План! А что Мерич язву свою кормить должен — это вам до лампочки! И главное, Петрушин гордость мою унижает. Как придет на участок работу принимать, так привяжется: лекцию читает. Будто я последний симулянт. И начинает, и начинает: и про внутреннее и про международное положение... Обидно!

Семен Корнеевич ласково посмотрел на меня.

— Самостоятельности хочет.

— Пусть уходит из бригады к чертовой бабушке! — плачущим голосом сказал за моей спиной Петрушин. — Хотел из него человека сделать!

— Вот видите, — обрадовался Мерич, — опять оскорбляет!

— Конечно, всякого человека надо уважать, Петрушин! — строго сказал Семен Корнеевич. — Но почему к Проскурину? Подберем отдельный участок у того же мастера...

Мерич захихикал.

— Я же вам насчет Веры Иннокентьевны высказывал...

Главный инженер, будто вспомнив о неотложном, прервал его, кликнул из соседней комнаты бухгалтера Федора Павловича, стал с ним смотреть какую-то бумагу. Бросил Меричу, чтобы продолжал.

— Конечно, я понимаю, Вера Иннокентьевна хоть и женщина, а диплом имеет — специалист!

— Что значит «хоть женщина»? Женщина не человек, что ли?

— Семен Корнеевич, смеетесь вы надо мной! Проскурин! От него и научишься и заработаешь. А она, извините, женщинка все же...

— Ну и что же? — Семен Корнеевич стал обводить кружочками цифры в документе. — У нас равноправие...

— А женщинка меня, извините, живицу брать не научит. — Мерич непристойно захихикал. — Разве чему другому...

В то же мгновение надо мной промелькнуло напряженное лицо Петрушина. Раздался сухой треск, как палкой по доске. И передо мной — отбивающиеся худые ноги Мерича, лежащего на полу. На щеке его быстро набухла кровью полная пятерня. Не сводя испуганных глаз с Петрушина, он отполз на спине в угол. Федор Павлович кинулся к Петрушину, обхватил его за плечи, стал что-то быстро говорить ему на ухо.

Семен Корнеевич сидел неподвижно, полуприкрыв глаза. Потом сказал:

— Иди, Мерич. В понедельник зайдешь с Проскуриным.

И когда Мерич вышмыгнул из комнаты, ласково взглянул на меня.

— Не расстраивайтесь, Вера Иннокентьевна, собака лает — ветер носит. Только как вы теперь с планом-то?..

— Выполним! — зло сказал Петрушин. — А ежели вы это издевательство нарочно устроили да еще со свидетелями, так имейте в виду: никого этим не запугаете!

Семен Корнеевич прищурился.

— А ты передо мной героя не строй, я тебе не девушка. —

И не повышая голоса: — Выполнишь план — получишь премию. Я ко всем одинаково отношусь. Не выполнишь — возьмешь расчет. Понял?

— Я вас давно понял! — с ненавистью сказал Петрушин и вышел.

— Некультурный у нас народ, Иннокентьевна, — вздохнул Семен Корнеевич. — Не стоит на них ваши нервы тратить!

Сейчас уже могу все это спокойно описывать. Но что со мной тогда творилось! В конторе я была как каменная, точно все происходило не со мной. Пришла домой как ни в чем не бывало. Катька дожидалась с задачкой. Сели решать. Хочу объяснить ей пустяковое правило: часть по целому. Только рот раскрыла, как горло сдавило судорогой. И такое отчаяние! Что такое, думаю, со мной? Неужели оттого, что Катька не понимает задачи? Ведь ерунда. А отчаяние все сильнее. И мне ужасно смешно, что я от такого пустяка отчаиваюсь. Начинаю хохотать и слышу, что получается рыдание. Катька с испугом на меня таращится. Вбежала Настасья Петровна, охнула, засуетилась, стакап с водой сует. Я зубами о стекло стучу и почему-то все одно слово выговариваю, никак выговорить не могу: за-за-за-че-ем. А что «зачем», почему «зачем» и сейчас понятия не имею.

Уложила меня Настасья Петровна, укрыла, чайком горячим попоила. Сидит рядом, плечо поглаживает, приговаривает:

— Ну, чо? Ну, чо? Обижаночка моя...

Обижаночка! Какое ласковое слово! И так мне себя жалко сделалось. Лежу, слезами горячими заливаюсь всласть. Мечтаю: если б кто-нибудь из вас меня сейчас увидел, тут бы рыданием оказался... И, представляешь, мне приносят письмо от Юрки из армии! Бывают же счастливые минуты в жизни! Как я его читала!.. Ты, конечно, знаешь, что он попал в школу сержантов. И уж тебе он наверняка подробно описал всех своих товарищей и командиров. А я ведь впервые получаю от него настоящее, полное письмо. Читаю про строевые занятия. И про дежурство на кухне. И про то, как трудно стоять на посту. И все вижу. Точно я пришла туда. Точно мостик перекинулся от моей Елани к тому городку на Волге... Можно в гости схо-



дить, поглядеть, поговорить: ну, как ты там? А я вот как! И я вдруг ощутила, именно не умом, а всем существом почувствовала, что не одна на свете, что нас таких, как он, как я, на нашей земле тьмы, и тьмы, и тьмы, что все вместе мы и есть молодое поколение... В общем, мне стало легче. Вот что со мной совершило Юркино письмо.

6

Странно, как мы с тобой по-разному все стали оценивать! В истории с Кирпоносом и Меричем для тебя главное: люди уходят от коллектива. А для меня главное: несмотря на их уход, бригада существует!

Может быть, потому что ты далеко, не видишь, не слышишь их... Посмотрела бы, как Глаша реагировала. Глаза свои зеленые сощурила, ноздри раздула.

— Скоты! К участку не подпущу! Ух, пятнало бы их!..

Доброхотовы, те спокойно выслушали. Они вообще люди солидные. И приехали основательно, надолго: с уймой мебели, с фикусами. Доброхотов рассудительно так сказал:

— Бывает. Ничего.

Каюров, узнав, что на Кирпоноса за ущерб сделают изрядный начет, даже посочувствовал, предложил:

— Скинемся!

А Петрушин! Он и окоряет, и носится по участкам, и ведет документацию. Вечно в спешке, мокрый, волосы на лбу слиплись, щеки ввалились, один нос утиный торчит. И охрип. Вырывается у него из горла шип, да скрип, да иногда петушина трель. Когда он по вечерам забегает к нам, Настасья Петровна его горячим молоком поит и поддразнивает:

— Чо, накомандовался? Поди за Сидоровым погоняйся, пуп надорвешь!

На что Петрушин мгновенно вскипает, как чайник, и, брызгая слюной, с шипом и писком доказывает, что смеется последний, что правда себя покажет и тому подобное.

И только один Искандер у нас вне времени и пространства. Пришла к нему на участок принять работу. Окоряет. Стою жду, когда заметит. Окликаю. Какое! Сдирает скребком кору, мурлычет себе песенку, улыбается. Оттащила его за руку, удивляется:

— Смотри, откуда взялась?!

Спрашиваю, как он относится к истории с Кирпоносом и Меричем, улыбается. Сияет как медный таз. Что ж тут, спрашиваю, веселого? Смотрит на меня как лунатик, еще шире расплывается.

— Глашу в лесу не встречала, а? Глашу!..

Правда, как бы хорошо тебе приехать сюда, хоть посмотреть на нас на всех! А то сидишь там среди стен и книг, жизни настоящей не видишь. Одни теории. А тут жизнь, тут борьба. Да, я теперь ясно вижу: борьба! За Спицына, за Мерича, за Дашу, может быть, даже за Кирпоноса и Кузьмича... Еще не понимаю: между кем и кем идет борьба и почему? Но чувствую эту борьбу во всем — и в наших неудачах, и даже в этих «божественных письмах». На днях ведь еще одно получила, с угрозой. Обнаружила в своем учетном журнале, который хранится в конторе. Вот полюбуюсь.

«Возлюбленная сестра, не предавайся соблазну! Стой в свободе, которую даровал нам Христос. И других не подвергай раб-

ству, и себя. Ибо не по духу собрались вы и не ради духа. А ради плоти. А дела плоти известны: распри, пьянство, бесчинство. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение.

А не отступишься, вспомни откровение Иоанна: кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых».

Угроза меня совершенно не трогает. Только интересно, кто этим занимается? И почему наша бригада кому-то поперек горла?

Петрушину о письме говорить нельзя — взорвется, учинит мировой скандал. Дашу это может погубить окончательно. А тех, кто за ее спиной, еще больше восстановит против нас. Нужно действовать как-то иначе. А как — не знаю. С нетерпением жду, когда Василий Мефодьевич поправится.

Во всяком случае, если и нужна философия, чтобы разобратся в жизни, так скорее здесь, чем тебе там. Напиши, что вы сейчас в институте проходите по философии?

А пока бригада работает. Окорение идет полным ходом. Но плап я выполняю в основном за счет индивидуальных участков. И это терзает петрушинское самолюбие больше всего!



1

Несколько дней назад Василий Мефодьевич спросил, с чего бы мне хотелось начать занятия по философии. Показала твое письмо с программой. Ты огорченно пишешь, что в который раз приходится начинать все сначала — с «Манифеста Коммунистической партии». Ты пишешь, что о «Манифесте» у тебя сохранились вполне достаточные школьные представления и что «Манифест» имеет отношение к давнему прошлому и к далекому будущему, но не к тебе, живущей в 1969 году. Я ему сказала, что очень тебя понимаю. Именно поэтому у меня никогда не было живого интереса к философии. Не могли же Маркс и Энгельс знать, как именно сложится жизнь у тебя в институте или у меня в Елани!

Они свою теорию прилагали ко всему человечеству. К миллионам. К столетиям. Там закономерности. А я-то живу здесь, среди двух десятков людей, живу местными интересами и делами.., И краткое время одной моей жизни... Захотела — осталась здесь. Захочу — уеду за тысячу километров, и жизнь моя пройдет вовсе иначе. Какая же тут закономерность для меня лично?

Василий Мефодьевич так и вскинулся. Пристукнул ладонью по твоему письму.

— Значит, именно с «Манифеста» и начнем!

И вот как прошло это первое наше занятие. Собралось нас всего пять человек: я и, конечно, Петрушин, бухгалтер Федор Павлович, Доброхотов и счетовод Николай Николаевич. О счетоводе я тебе как-нибудь особо напишу — у него странная и интересная судьба, он меня ужасно интригует. Он художник. Представляешь, настоящий художник! Некоторые его картины висят где-то в музеях. Лет ему уже много, по-моему, больше шестидесяти. Высокий, сухощавый, все лицо в мелких морщинах, седой, глаза светлые и чистые. И голос тихий, осторожный, словно он постоянно боится кому-то помешать. Вообще мягкий и тактичный. Все это вместе в нем красиво. А жена у него англичанка, как он ее называет, — высокая, ширококостная, громогласная и физически такая сильная, что, говорят, даже Кирпонос ее побаивается. Работает она продавщицей в нашем магазине. Николай Николаевич в Елани давно, с тридцать шестого года.

Василий Мефодьевич за обеденным столом, в кресле с подушками. После буйства Кирпоноса у него опять было обострение, он почти не выходит. Рядом с ним на столе стопка книг.

Николай Николаевич сразу же забрался в угол, в кресло, за тих там, подперев голову рукой.

Остальные за столом. Петрушин выложил свою знаменитую тетрадь, огрызок карандаша, уставился на Василия Мефодьевича, как первоклассник.

Василий Мефодьевич стал вслух читать «Манифест». Читал он просто, медленно, давая вслушиваться. В каких-то местах останавливался, обводил нас веселым взглядом, даже подмигивал. Мол, то-то! Соображаете, что к чему?

И со мной произошло нечто удивительное: я вдруг услышала «Манифест»! Именно вдруг увидела, что все это прямо относится ко мне. «Манифест» касается как раз того, чем живу, над чем думаю, что представляется мне самым важным в моей жизни! И уже не понимаю, как могла не видеть этого раньше. Ведь с уничтожением власти частной собственности и возникают все эти «мои» вопросы: что свойственно человеку — стремление быть одному или стремление быть вместе? Вспоминаю о настрое-

ниях, с которыми ехала сюда. Что это было — сила или слабость? А если быть в коллективе, то как — остаться самим собой или раствориться в других? И что, по-твоему, произошло со мной здесь, в Елани? Потеряла я свое лицо, стала, «как все», или обрела?

Стремление людей к общности складывается из стремлений каждого отдельного человека. Так ради чего этот отдельный человек стремится в коллектив — ради собственного благополучия или ради чего-то другого? Как, например, с петрушинской бригадой. Почему каждый туда пришел? Если коллективизм согласен с природой человека, то почему у нас в химлесхозе люди зачастую не помогают, а мешают друг другу? Ведь нам с Петрушиным приходится непрерывно бороться за бригаду, за самый принцип коллективной ответственности.

В общем, вопросы мои так и посыпались.

Все наперебой принялись мне разъяснять. Шум поднялся страшный. Доказательства сводились к одному: человек стремится в коллектив потому, что ему быть в коллективе выгоднее, удобнее, легче. Меня же эта мелкая корысть ужасно корбила. Я вопила, что это мещанство. Василий Мефодьевич, улыбаясь, поднял руку.

— Постойте, постойте! Вы что думаете, вас первых мучают эти вопросы? Множество людей над этим билось.

И он стал читать нам выдержки из разных книг. Он не навязывал нам никаких оценок. Но как-то так выбирал главное, что все становилось ясно, и ответ напрашивался сам собой. Я едва успевала записывать.

Листки с заметками передо мной. Записано все вперемешку, будто все эти философы сидели среди нас, спорили с Василием Мефодьевичем, со мной... Я тебе кое-что выпишу.

Вот, например, английский философ Бентам. Жил он тогда же, когда и авторы «Манифеста». Он говорил, что личные интересы — единственно реально существующие интересы. Общественные интересы — это пустая фразе! И поэтому нравственно лишь то, что позволяет удовлетворять возможно большее количество частных интересов. Он даже предлагал арифметически

вычислять для каждого человека, каких у него поступков больше — полезных или вредных для его частных интересов, и по этому оценивать, хороший он человек или плохой. Если так, то выходит, что лучшие люди у нас — это Сидоров и Асмолова. И еще Мерич! Уж он-то только свои интересы удовлетворяет.

Гольбах, который жил на полвека раньше Маркса, писал, что человек должен любить других людей потому, что они необходимы для его собственного благополучия. И у него получается, что любовь всегда корыстна. Это неправда! Я, например, люблю разных людей. Люблю, конечно, по-разному. Но не от ума. Не от сознания, что так нужно для моего благополучия. Зачем мне нужно любить тебя? Или кого-нибудь другого, кто так же далеко от меня?.. Люблю оттого, что не могу иначе. Разве Петрушин думает и заботится о других ради своей выгоды? Рассчитывает на будущие награды?

Современник Гольбаха, французский философ Гельвеций писал, что порочных людей не будет тогда, когда люди просто не смогут осуществлять свое частное благо, не осуществляя в то же время общего блага. Но как создать такие условия, чтобы иначе жить было нельзя?

И на все эти вопросы ответил «Манифест»! Подумай, Маркс и Энгельс были в ту пору всего на пять-шесть лет старше нас с тобой! Ужас, как мало я знаю, как поздно взрослею.

Василий Мефодьевич стал рассказывать о жизни Маркса и Энгельса. Меня поразило, какую трудную жизнь прожил Маркс. А ты знала, что Энгельс во время революции дрался на баррикадах?

Я поняла, зачем Василий Мефодьевич рассказывал. Чтобы показать, что Маркс и Энгельс учились у жизни, что «Манифест» нужен был тогда, немедленно!

Все это я высказала вслух.

Если б ты видела, какой радостью озарилось при этом лицо Василия Мефодьевича!

— Аля, ты слышишь?! Аля, а ты говорила — к чему!.. Да, именно в этом сила марксизма: он шел от жизни. И ответы искал и находил только в жизни, в классовой борьбе.

Василий Мефодьевич рассказал, как за три года до написания «Манифеста» в маленьком городке Эльберфельде, может, чуть побольше, чем наша Елань, Энгельс собрал небольшой кружок тех, кого так же волновали вопросы: как жить, куда идти людям? И произнес речь. Последние слова этой речи я записала и сейчас перепису тебе полностью.

«Но что коммунистический принцип является принципом будущего, за это говорит ход развития всех цивилизованных наций, за это говорит быстро прогрессирующее разложение всех существовавших до сих пор социальных учреждений, за это говорит человеческий здравый смысл и прежде всего человеческое сердце».

Прежде всего человеческое сердце! Это меня пронзило. Прежде всего! Как верно. Именно то, что я чувствовала и стеснялась произнести вслух. Мне казалось, что это моя восторженность, ребячество, что философия не спускается со своих высот к таким мелочам, как чувства.

— В этом же все дело! — торжествующе воскликнул Василий Мефодьевич. — Ведь человеческие чувства — это человеческие побуждения, а значит и человеческие поступки!

И дальше Василий Мефодьевич говорил примерно так. Идеалисты вообще не признавали опыта жизни и считали, что в человеке действует некая высшая духовная сила. Они окружающий нас мир представляли как порождение этого творящего духа. Материалисты сделали огромный шаг вперед. Сперва Спиноза, а потом и все материалисты стали объяснять мир самим миром. Не искали никаких причин вне мира, как это делают идеалисты, религия. Но вначале материалисты полностью отвергли духовную жизнь человека, будто человечество — это простая арифметическая сумма отдельных людей, каждый из которых стремится только удовлетворить свои собственные желания.

Ни Гольбах, ни Бентам не могли бы ответить на мой вопрос: как совместить эгоизм с жизнью в обществе? Маркс и Энгельс смело сказали о материалистическом понимании духовной жизни человека, о свойственных его природе высших чувствах коллективизма. Именно об этих высших чувствах говорит Энгельс,

когда говорит о человеческом сердце. И чтобы понять, куда стремится человечество, чтобы понять человеческую историю, нужно понять побуждения людей, эту историю совершающих. Нужно понять человеческое сердце.

Может быть, я не все и не очень точно пересказала тебе. Может быть, я запомнила и записала только то, что меня больше всего поразило... Но главное, я ощутила, как все это мне близко, как нужно для моей сейчасной жизни...

Мне кажется, у всех было такое чувство. Потому что разговор перешел на нашу жизнь. Стали фантазировать, что будет здесь при коммунизме: комбинат, или заповедник, или космодром...

— Не станет Елани вообще, — махнул рукой Доброхотов. — Все люди съедутся в большие города...

— Или же, наоборот, разъедутся! — сказала из своей комнаты Аэлита Сергеевна. — Когда-то представляли, что при коммунизме будут жить одинаково, одеваться одинаково. А мы же видим, что каждый стремится построить жизнь по своему вкусу.

— И есть каждый станет по своему вкусу! — мечтательно сказал Василий Мефодьевич.

Все засмеялись. Оживился Федор Павлович.

— Экономика. Будет правильная экономика, будет изобилие — наступит коммунизм!

— Извините, пожалуйста, — тактично заметил Николай Николаевич, — неужели наша цель — изобилие? Но когда все наедятся досыта, тогда к чему же стремиться?

— Тогда можно будет перестать думать о еде! — решительно сказал Петрушин и, конечно, покраснел пунцово.

— И можно будет сколько угодно писать пейзажи! — добавила Аэлита Сергеевна.

— Извините, пожалуйста, но лучше всего я пишу натошак.

Темная кожа на лице Николая Николаевича собралась в множество морщинок, и я впервые заметила, какая у него умная улыбка. Василий Мефодьевич внимательно посмотрел ему в глаза.

— Сомневается! — с обидой сказал он. — Вы опоздали на сто лет! Еще первые критики коммунизма пугали, что при всеобщем изобилии и сытости наступит всеобщая лень. А где она? Возникают иные интересы, высшие...

— Ну хорошо, хорошо, — сказал Николай Николаевич, — поверю в ваши высшие интересы и чувства, если вы мне объясните, что это такое. Что за такие таинственные чувства толкают людей в коллектив?

— Ишь ты, разохотился! — пробурчал Василий Мефодьевич.

— Докажете, брошу малевать пейзажи, стану изображать человекoв! — подзадоривая, заключил Николай Николаевич.

Василий Мефодьевич обвел нас усталыми глазами.

— Он хитрец — ведь это же один из главных вопросов философии. Почему человек стремится к общности... Почему человек стал человеком...

Он откинулся на спинку стула, задумался. Так хорошо было после всех разговоров помолчать, прислушаться, как в душе из сумбура, который там царил, складывается что-то простое, ясное... Казалось, еще одно слово, и все вполне прояснится.

— Довольно! — сказал Василий Мефодьевич. — Об этом в другой раз, — и улыбнулся своей детской открытой улыбкой. — Подготовиться надо.

Он очень устал. И мы разошлись.

Может быть, это ужасное упрощение — прикладывать марксизм к моим отношениям с Петрушиным, Семеном Корнеевичем, Дашей... Но ведь для того чтобы понять, что такое коммунизм, нужно понять, что такое Человек. А Человек — это и Петрушин, и Семен Корнеевич, и Даша... Человек — это... Что же такое Человек? Ой, что творится в моей бедной головушке! Каждый вопрос тащит за собой новый! А я ничего не знаю. Я не умею думать. Учиться! Учиться всему с самого начала! Пришли мне, пожалуйста, книги о Первом Интернационале, о «Манифесте»...

Разве я тебе не писала о Кирпоносе? Явился. Через три дня после перепоя. Вышла утром из дому в лес — у калитки стоит, глаза в землю. Поравнялась с ним, задержалась — не шевелится. Стоим молчим.

— Ну,— говорю,— интересный разговор!

Вздохнул. Я пошла. За мной топает. На опушке остановилась. Спрашиваю строго:

— Беседовал с вами директор?

Переступает с ноги на ногу, сопит как медведь.

Наконец проговорил голосом удушенника:

— Петрушину скажите... Окорять буду...

Работает. Как зверь. Из лесу не выгонишь. Но положение пока еще трудное, заработки в бригаде нищенские.

Очень рада, что ты интересуешься нашими делами. Но ты не права, это у тебя временное настроение — бросить все и уехать в такую же глушь. Во-первых, тут совсем не глушь. И какая может быть глушь среди людей?! А во-вторых, из-за неудачи с докладом в научном кружке нельзя падать духом. Профессор тебя разгромил — так он же профессор! А ты? Вчерашняя школьница. Конечно, он, паверно, прав, что ты не знаешь жизни и оцениваешь литературное произведение не по тому, есть ли в нем жизнь, а по тому, как оно похоже на другие литературные произведения. Но из-за этого считать, что ты напрасно пошла на филологический факультет, что литература вообще роскошь и никакой практической пользы людям не приносит, а добывать живицу можно без всякой литературы, и это, по крайней мере, приносит пользу... Ты просто не ценишь своего счастья. Если бы здесь в тайге у меня были учителя и книги!..

Наверно, так и должно быть, что мне здесь не хватает учеб-
бы, тебе там не хватает практической жизни... Мне сейчас пришло в голову, что мы с тобой разными путями идем к какой-то одной цели. К какой? Еще не знаю, не могу назвать. Есть только предчувствие. Идти можно и так, как ты, и так, как я или

Юрка... Но где-то мы обязательно встретимся. А по дороге будем друг другу помогать,

Что у Юрки?

3

Ничего не понимаю! Я была уверена, что вы переписываетесь и ты все о нем знаешь. За два месяца ты не собралась ответить на его письмо! Ты просто права не имеешь! Ведь он в армии, он на два года оторван от тебя, от всего, что тебя окружает. Ему там нелегко. Он думает о тебе, носит с собой твою фотографию. Что это с твоей стороны — опять какая-нибудь игра? Или прием? Тогда это бесчеловечно. Или же... Но не могла же ты вдруг, за два месяца, разлюбить! Напиши. Сейчас же сядь и напиши ему хорошее, подробное письмо о себе, об институте. Ты обязана это сделать!

4

Почему тебя возмутило в моем письме «обязана»? Если ты Юрке друг, товарищ, у тебя по отношению к нему есть обязанности. Так должно быть между людьми. Конечно, ты обязана ему писать. Не возмущайся, это тебя не унизит.

Помню, как я оскорбилась в день приезда, когда услышала от Кати «нянька». Не успела я войти в поселок, как сразу оказалась всем обязанной: и хозяйке квартиры, и возчику Кузьмичу, и директору, и всему химлесхозу... Унизительно! Но самое интересное, в глубине души я почему-то чувствовала, что действительно должна, обязана. И осталась. И тут оказалось, что люди вокруг также естественно считали себя обязанными передо мной. Я тогда не понимала. Ни мою Настасью Петровну, ни Василия Мефодьевича, ни Петрушина не понимала. Видела во всем расчет, хитрость даже... А потом я стала испытывать от этой всеобщей обязанности непрерывную радость. Хотя порой это бывало тяжело, порой даже заставляло меня и поскулить и пореветь,

Вот, например, на днях. Прихожу домой, слышу, корова в хлеву мычит-надсаживается. Выясняю у Катьки, в чем дело.

— А не доена, оттого орет. Больно.

— Что же мать не подоила?

— А нету мамки, в город поехала.

— Какой город?! Что ты мелешь? На чем поехала?

— А на самолете. Начальник разрешил. Сказывала, через неделю воротится. В Красноярске у ней подружка.

— Как — через неделю?! А хозяйство! А за тобой смотреть?

Катька стоит животом вперед, руки за спиной, качается, во весь рот ухмыляется — ей весело!

— Сказывала, не бойсь, нянька пригласит!

Тут, кстати, нянькой в семье зовут старшую сестру.

И я мчусь доить изнемогающую Звездочку. Стараюсь делать все, как Настасья Петровна, даже фартук ее надеваю. Звездочка смотрит на меня доверчиво и терпеливо. Начинаю доить. Боже мой, соски у нее твердые, как дерево. Уже через две минуты пальцы немеют, скользят, молоко еле сочится. Бедная Звездочка мотает головой, бьет меня хвостом по лицу, вся дрожит. Катька с испуганными глазами бросается за соседкой. Та приходит — пожилая, толстая украинка, — охая и причитая, подсаживается к Звездочке, оглаживает ее, успокаивает и вмиг выдает три литра молока.

Теперь она обучает меня этому искусству: смазывать соски жиром, захватывать сосок всей ладонью и с силой оттягивать книзу, преодолевая страх, что оторвешь. И главное, учит чувствовать скотинку — ее состояние, настроение...

Едва разделяюсь с дойкой, пора варить Катьке ужин. Одновременно нужно помогать ей с уроками. Сваливаюсь в первом часу ночи. А через полчаса будят: я плохо заперла ворота хлева и Звездочка вышла прогуляться в соседский двор. Водворив корову на место, полночи на морозе вожусь с тяжеленными воротами, которые никак не запираются — перекосились. В конце концов, кое-как замазываю кольца проволокой. И уже не сплю до утра — на каждый скрип поднимаю голову и с ужасом жду очередного появления соседей.

Завтрак начинаю готовить затемно. Выясняется, что для этого необходимо наколоть дров. Да и подтопить не мешает: за ночь выстудилось и Катьке будет страшно вставать. Наколоть дров! Беру в сених здоровенный колун и отправляюсь, как на плаху. Расколоть нужно чурбак диаметром в полметра. Прыгаю вокруг этого окаменевшего чудовища, колун выворачивается, тюкает обухом, норовит хватить меня по ноге. Поднимаю голову, чтобы убрать со лба волосы, и вижу за оградой соседских ребят, с любопытством взирающих на это зрелище. Уволакиваю чурбак за дом и продолжаю смертный поединок вдали от чужих глаз. Наконец откалываю от этой стальной глыбы несколько жалких щепок и бегу растапливать печь. Варю Катьке кашу и с тоской думаю о том, что в хлеву ожидает меня Звездочка. Стук в дверь. Соседка! Смотрю на нее с ужасом — конечно, Звездочка снова отправилась в гости.

Соседка ставит на лавку ведро.

— Та подоила вашу Зирку, бо, думаю, на работу посишка та не встигне...

Позавчера не пошла в лес, сижу в конторе, пишу всякие бумажки. А в голове одно: что там дома? Пришла ли из школы Катя? Взяла ли поесть? Да как там Звездочка?

А вечером явился встревоженный Петрушин — не заболела ли? Увидел, что я по уши в хозяйстве, обиделся, нахохлился, губы трубочкой вытянул, отвернулся. И я мучаюсь, чувствую себя предательницей. Поди успеи всем угодить!

Вчера произошла трагедия с петухом. Не понимаю, что с ним сделалось! Может, не тем накормила... После обеда, только из лесу вернулась, Катька заявляется в контору.

— Нянька, петух дергается!

Прибежала, а он в сених лежит мертвый. Какой был красавец! Бывало, ходит по двору, модничает — медные, синие перья распускает. А тут лежит кучкой грязных перышек... Реву над ним. Катька по руке меня гладит, утешает:

— А ты напиши тетке, пускай другого в посылке пришлет!

Вышла во двор, гляжу: пока меня и Кати не было, днем кто-то переколот во дворе кучу дров. Ума не приложу — кто?

Наконец сегодня вместе с врачом из Красноярска — консультантом для Василия Мефодьевича — возвратилась Настасья Петровна. Вошла в дом налегке, как с работы, без вещей, даже без гостинцев. Оживленная, глаза в щелочках светятся.

— Ну чо, живы?

Катка ей сразу:

— Петух помер, няньке другого в посылке шлют!

Смеется. Вожу ее по дому, сокрушенно демонстрирую ущерб. И не слушает. Все на меня да на Катку поглядывает и смеется.

И не спросила, не трудно ли мне было, не повинилась, не посочувствовала. Именно от этого мне было так хорошо, что передать не могу! Вдруг осознала, в чем для меня смысл ее поступка, почему, когда узнала про ее беспшашный отъезд и про это без тени сомнения сказанное: «Нянька приглядит!» — я испытала не только страх, но и радость. Даже гордость! Я ей своя. Понимаешь? Ей и всем здесь — своя! Своя не по крови, не по общей выгоде. Что-то иное нас роднит, более высокое... Это прекрасно, быть связанным обязанностями!

Не уклоняйся от обязанностей дружбы — напиши Юре.

5

Ну хорошо, пусть, как ты считаешь, ваши с Юркой жизненные пути разошлись. Хотя и этого не вижу — вернется через два года из армии взрослым человеком, все наверстает. Но то, что ты пишешь о неравных браках, ужасно! Неужели не может быть счастья, если, скажем, он слесарь или токарь, а она инженер? Обвиняешь Юрку, что он, завалив на физический, не попытался сдать в любой другой институт, как другие. В любой, лишь бы в институт! Это его-то не влечет образование?! Тут все неправда! И про неравенство браков, и про Юрку. Он поступил единственно правильно. Вспомни, он никогда не был приспособленцем.

А то, что тебе с ним уже давно скучно, еще задолго до армии, не верю. Задним числом придумываешь оправдание.

Скажу тебе, в чем дело. Обидишься на меня смертельно. Но я все-таки скажу. Он тебе не нужен, пока не может выполнять свое главное назначение: восхищаться каждым твоим словом, каждым жестом, каждой придуманной тобой оборочкой на юбке. Тебя даже злит, что он теперь заполнен не тобой одной. С какой насмешкой и презрением ты пишешь о том, что его, видимо, вполне удовлетворяет солдатская жизнь и солдатская карьера: «того и гляди, до старшины дослужится!»

Тебе неинтересно все, что не ты. Вспомни, в нашем кружке ты всегда была центром. О чем бы мы ни говорили, непременно сводили к тебе. Чуткость? Ты самый яркий пример человеческой чуткости и тонкости. Юмор? Кто еще может так умно пошутить, как ты! Хотя шутила ты зло, а мы смеялись и стыдились показать обиду... А твоя неповторимая музыкальность! А постоянные упрашивания: потанцуй, ах, если бы она пошла в балет! И ты, наконец, охотно и очень изящно показываешь новое па и танцуешь, танцуешь одна... Мне так часто хотелось тоже пуститься в пляс, я даже порывалась, но ты только раздраженно прикрикивала: «Вера, не путайся под ногами!» И начинается твой сольный балетный вечер с овациями и бисами. А уж о физической красоте нечего и говорить: ты признанная первая красавица в школе! И ты с серьезным интересом, без ложной скромности, слушаешь: как мы обсуждаем форму твоих бровей или разрез глаз...

Почему так получалось? Не знаю, ты никогда этого не требовала. Как-то само... Хотя нет, мы знали, что ты этого ждешь, что, если говорить не о тебе, ты заскучаешь... А мы все любили тебя за то, что ты и вправду умнее, красивее, талантливее всех нас. Нам хотелось доставить тебе радость.

И так постепенно сложилось, что ты внимательна и приветлива с теми, кто тебе нужен. А другие, те, кому нужна ты, для тебя просто перестают существовать.

В общем, все это пишу, чтобы ты знала, что не стоишь Юркиного мизинца!

Молодец, что не обиделась! Если бы люди умели становиться выше своего мелкого самолюбия!.. Как легко было бы жить всем вместе! Мне кажется, людям мешают просто-напросто плохие характеры. Самолюбие, зазнайство, подозрительность, упрямство... Например, Семен Корнеевич. Я все пыталась разгадать, почему он так ненавидит Петрушина, его бригаду, меня. Самолюбие! Обидно, двадцать лет ходит в лесохимиках, дело действительно знает. И какой-то Петрушин взялся его учить! Или я — без году неделю в тайге, а в мастерах, с дипломом... Поэтому он на все — нет!

Недавно Петрушин явился с новой идеей. Вместо того чтобы снимать кору на всей площади, вырезать только на местах будущих желобков и подновок-усов. Поверхность съема коры сократится почти вдвое. А производительность при окорении вырастет в полтора-два раза. Притащил расчеты на десяти страницах. Надо вычислить суммарную длину всех подновок, определить суммарную площадь подновок на одном дереве, помножить... В общем, если разрешат, бригада успеет с окорением до глубокого снега. Кроме того, при работе с серной кислотой живица обильно растекается по всей окоренной поверхности, усыхает. А при новом способе живица будет лучше удерживаться в глубоких желобках с высокими бортиками коры. Ведь ясно же, что дело стоящее.

Семен Корнеевич и слушать не захотел.

— Нет и нет! Против инструкции ни на вот столечко! Тут вам не академия — пробовать. Тут план надо давать. А кто не может — пожалуйста, хоть в академию, хоть к черту на рога!

— К директору пойду! — закричал на него Петрушин.

— Иди, иди к больному человеку, добивай! Мало ты ему нервов испортил: план заваливаешь и людей с толку сбиваешь.

Я вмешалась, сказала, что беру на себя ответственность. И Семени Корнеевича прорвало. Повернулся ко мне, желваки заходили.

— Образованная! — усмехнулся. — Курочка бычка родила!

Когда мы вышли на крыльцо конторы, валил снег. Дома, лес — все вокруг было в снежном, слюдяном тумане.

— Вот чего он ждет, чтобы меня на участке завалило!

На лице его появилось выражение, которое мне ужасно симпатично: смесь петушиного задора и веселого лукавства.

— Уговорю! Директора уговорю. Упрости учительницу, чтобы пустила к нему.

Сегодня была в школе у Аэлиты Сергеевны. Она сразу согласилась. Но назначила через три дня. Медсестра, приехавшая вместо Спицына, будет ему в эти дни какие-то уколы делать.

Хоть бы он поскорее выздоровел! Ты не представляешь, что он значит для меня, для всех нас. Вот ты говоришь, что мои письма действуют на тебя благотворно: ты видишь себя со стороны, ты недовольна собой, хочешь стать лучше. Как много может сделать с человеком слово! А ты сомневаешься в значении литературы! Но знай: не мне ты обязана, а Василию Мефодьевичу — это его слова, его мысли... Я с нетерпением жду второго занятия.

7

Только что вернулась от него и бросилась тебе писать. И гонял же он Петрушина! Дважды проверил расчеты. Главное, при ребристом окорении (Василий Мефодьевич так называл петрушинский способ) дерево значительно меньше страдает. Об этом я как-то ни разу не подумала. А ведь помню, как больно поразили меня в первый раз эти огромные раны на деревьях.

Василий Мефодьевич ученый-лесовод. Аэлита Сергеевна рассказывает, что он диссертацию о лесе начал писать, да заболел и уехал сюда. Он сразу увидел за предложением Петрушина очень многое. Понимаешь, благодаря тому, что дерево при этом способе станет сильнее, на нем будет меньше вредителей. И весь примыкающий к участку лес оздоровится. Кроме того, ведь после лесохимиков сюда придут лесорубы, и качество древесины они получают лучшее.

Василий Мефодьевич в постели, на высокой подушке. Подниматься ему строгойше запрещено. Мы с Петрушиным таскали ему с полок книгу за книгой. Сколько у них книг — умрешь от зависти! Василий Мефодьевич показывал нам рисунки, рассказывал, как все взаимосвязано в лесу и как опасно по незнанию разорвать эти связи. Краевое начальство собирается организовать химическую протравку тайги с самолета, чтобы убить вредителей, мошкар. Его это возмущает предельно. Ведь погибнет вся мелкая живность. Нарушится весь мир леса, не только сегодняшний, но и завтрашний.

Василий Мефодьевич замолчал, задумался. Когда он лежал так, с закрытыми проваленными глазами, бессильно вытянув поверх одеяла худую руку, мне стало страшно. Вдруг ясно представила себе ужас, который он должен испытывать оттого, что все труднее становится дышать, что боль в сердце не проходит и тают силы. И в этот момент он открыл глаза — они сердились!

— Эти невежды воображают, что в лесу можно действовать вслепую: а вдруг получится хорошо? Кретины!

Он сердито рассмеялся, закашлялся, стал задыхаться.

Прибежала из своей комнаты Аэлита Сергеевна, подхватила его под мышки, усадила, отворила форточку.

— Вася, перестань разговаривать, иначе я выставлю твоих гостей!

— Что значит — перестань! Ты представляешь, что будет здесь через сто лет, если дать волю этим отравителям?! Пустыня! Я должен ехать в Красноярск ругаться!

— Поедешь. О чем спор? Поправишься и поедешь.

— То-то! — сразу успокоился Василий Мефодьевич и подмигнул нам с видом победителя. — Молчу, молчу, Аля.

Аэлита Сергеевна ушла к себе. Василий Мефодьевич выждал с полминутки, нетерпеливо поманил нас приблизиться, (казал вполголоса:

— Вы ее не пугайтесь. Передайте всем, скоро занятие.

Он вытащил из своей стопки несколько книг и дал мне. Чтобы прочитала к занятию. Они лежат передо мной на столе. С его закладками. По этим подсказкам его и стану читать.



1

Читаю, читаю. С трудом, конечно. Каждую строчку по три раза. В голове точно ржавые колеса проворачиваются. Но я знаю, почему теперь мне не скучно рыться в этих страницах, возвращаться к прочитанному, копаться в примечаниях. Я ищу ответа, я хочу знать. Не для того, чтобы похвастать перед тобой или блеснуть на экзамене. Для того, чтобы жить!

Странное дело: сейчас, когда я понемногу уже пробираюсь сквозь всякие сложности и непонятности, когда кое-что уже уразумела, мне кажется, что я читаю просто историю жизни одного человека. Может быть, даже свою собственную.

Маркс и Энгельс пишут о том, что человеческое сознание формируется в процессе общения между людьми. И первое проявление сознания — это отношение к окружающим. Помнишь нашего соседского малыша? До года родители считали его щенком и обращались как со щенком: пихали ему все, к чему ни потянется, сюсюкали, облизывали его. Однажды бабушка случайно стукнула его локтем, он расплакался. Бабушку тут же притворно побили, бабушка притворно поплакала, и все очень веселились. А когда малышу исполнился год, вдруг все увидели, что у него отвратительный характер, что он капризен, подлизывается к матери и колотит бабушку, делает назло, отнимает у других детей игрушки. Оказалось, что у него уже сложилось отношение к окружающим! Это я теперь поня-

ла. А тогда я верила бабушке, которая все искала, в кого он такой уродился и кто его сглазил?

Я очень хорошо понимаю, как давным-давно, когда люди впервые стали замечать, что мыслят, что человеческое воображение может создавать целые картины, что мысль может опережать события, предвидеть их, я очень хорошо понимаю, как они могли заблуждаться! Они поверили, что то, что рождается у них в голове, и есть единственно реальное, что оно сильнее жизни! Читаю об идеализме и опять думаю о себе.

Мне шесть лет. Подвожу тетю к окну, из которого открывается вид на ржавые крыши и закопченные печные трубы и говорю: «Хочешь, сейчас прикажу, и все трубы оторвутся от крыш и улетят в небо? Хочешь?» Тетя испугалась, что я выполняю угрозу, и не сказала. Но я до сих пор помню чувство абсолютной уверенности, что если бы она только сказала...

А помнишь, как я мечтала об одиночестве?

Человек вообразил, что может жить в себе и развиваться из себя! Вся моя жизнь это опровергает! Кем я приехала сюда? Мне стыдно вспомнить о первом разговоре с директором в конторе. И если я чему-то научилась, что-то поняла, то только потому, что живу среди людей, работаю вместе с ними.

И вот послушай теперь, что еще поняла я, что стало для меня главным смыслом прочитанных страниц. Может быть, Василий Мефодьевич своими закладками выбрал для меня это главное, нарочно подвел меня к этому? Но оно как маяком осветило мне все мои побуждения—и почему я осталась в Елани, и почему идут люди в петрушинскую бригаду, и почему мне так хорошо с людьми, даже когда трудно...

Человека отличает сознание. А раз человеческое сознание может существовать и развиваться только как результат совместной жизни и совместного труда людей, значит, человек неизбежно стремится к коллективизму! Иначе человеку смерть. А он хочет жить!

Это не питата, это я сама, хотя, как видишь, два раза перечеркивала. Но зато я могла бы теперь ответить Николаю Николаевичу. И тебе. И всем на свете.

Сегодня произошла смешная история. И грустная. В общем, я в смятении. О ней наверняка уже знают в поселке. Как покажусь на люди?! Недаром сегодня тринадцатое число!

С утра в чудесном настроении отправляюсь к петрушинцам принимать окорочные работы. Погода сказочная — солнце, снег, тишина. Все вокруг полно дружелюбия, мохнатые еловые лапы протягивают навстречу полные горсти чистого снега: на, лизни! Голые березки глядят трогательно, доверчиво. Уютно в валенках и пуховом платке, в который меня закутала Настасья Петровна. Мягко похрустывает снег под ногами.



На участке Кирпоноса застаю бондаря Митьку. Кирпонос придумал специальный струг для ребристого окорения, с фигурным резцом, с регулирующим шаг выступом. Митька помог изготовить и теперь относится к бригаде покровительственно.

Кирпонос, как обычно, не обращает на меня ровно никакого внимания, чешет и чешет своим стругом. Митька ходит за ним с отвесом, намечает на стволе, а Кирпонос тут же хаком

режет направляющий желобок. Это против инструкции. Желобки, как правило, проводятся после окорения, когда устанавливаются приемники. На мой вопрос Кирпонос, не поднимаемая головы, бурчит:

— А на что второй раз к дереву подходить!

Делаю первое в моей жизни изобретение:

— К чему же таскать с собой и струг и хак? Добавьте на струге резец для желобка.

Митька берет из рук у Кирпоноса струг, пробует пальцем и задумчиво говорит:

— Если приклепать поверху...

И я ощущаю себя Эдисоном.

Митька делает таинственное лицо, достает из-за пазухи бутылку.

— С окончанием окорочки, Иннокентьевна! Присоединяйся. Вид бутылки приводит меня в ярость.

— Спаивать его пришел!

— Но, но, но,— обижается Митька.— Ты меня с подлипалой одноглазым не путай! С праздничком проздравить, что койкому нос утерли!

Кирпонос выхватывает у Митьки бутылку, идет на меня. Не успеваю испугаться, как он с размаху в осколки разбивает бутылку о дерево. И слепо идет прочь сквозь лес, ломая кусты, как танк.

— Ну, сильна!— говорит Митька жалобно.

Ухожу победительницей. Весь день путешествую по участку как именинница, принимаю поздравления. С достоинством кивает мне Доброхотов:

— Идет помаленьку, Вера Иннокентьевна!

Слышу монотонное пение Искандера. Издалека, не переставая петь, машет мне рукой, улыбается — одни зубы сверкают. Через два километра натыкаюсь на Глашу с ведром разведенной извести, с помазком — она размечает участок. На лице белые брызги, как снег. Зеленые глаза сияют.

— Моего там видела?

— Видела.

— Поет?

— Поет.

И она довольно смеется.

Настоящий именинник Петрушин налетает на меня, как всегда, взмокший и встрепанный.

— Еле догнал, понимаешь! Бегаю, понимаешь, по твоим следам как собака! Хорошо еще, следочки — не спутаешь!

Только сейчас обращаю внимание на то, какие крошечные следы оставляют мои валенки тридцать четвертого размера рядом с его огромными. Он перехватывает мой взгляд.

— Как заяц! — Он совсем осип и произносит одни свистящие и шипящие. Ему самому смешно.

И мы идем с ним принимать работу — последнюю работу перед новым сезоном.

И вот после такого счастливого дня — подарочек! Сидим за ужином, как у нас повелось, рассказываю Настасье Петровне и Катьке события дня. Стук в дверь. Входит соседка, та самая толстая украинка, которая учила меня доить. Но сегодня входит как чужая. На меня не смотрит. Церемонно кланяется, останавливается у порога. На полном ее лице выражение важное, царственное. А наряд! Из-под зимнего пальто с чернубуркой выглядывает ярко-зеленое шелковое платье, на ногах лакированные туфли!

Настасья Петровна медленно поднимается ей навстречу. А у меня от предчувствия сердце обмирает.

— Прийшли за добрым делом! — произносит соседка деревянным голосом и снова церемонно кланяется.

— Заходите, садитесь, гостем будете! — таким же деревянным голосом серьезно отвечает Настасья Петровна и тоже кланяется.

— Не сидеть прийшли, а за добрым словом! — со значением говорит соседка и не двигается с места.

Настасья Петровна мелкими шажками подходит к ней, расстегивает пальто, осторожно, как с манекена, снимает, вешает на крючок. Поддерживает под локоть и ведет в комнату. Соседка усаживается на стул, точно на трон. Повелительно машет

рукой на нас с Катькой. Обе скрываемся в моей комнате. Катька притихла, прижалась ко мне, ей тоже страшно.

Настасья Петровна устроилась напротив гостьи, торжественная, — мне видно ее лицо. Наступило долгое, полное достоинства молчание. Первой пачала соседка:

— Ото так, значит. Есть у нас парубок дуже гарний. И роду крепкого, и с лица тож — хоч в газету, хоч в телевизор! Ходят коло нього дивчата, а вин до их ниякой уваги. Бо думает та гадает за одну кралю, за карии очи, за чорную кóсу. И нема йому спокою ни в день, ни в нич. Порадьте, будьте ласкави, що йому, бидолаге, робити? Бо дуже сумуе.

Она замолчала. Заговорила Настасья Петровна:

— Чо нам-то? Нам-то чо? А пускай тот красавчик в город слетает, платочек покупает, слезы осушает.

— Нащо ж йому в город? Йому и тут можна купити чого треба. Ось у вас е товар, у нас купец.

Настасья Петровна поглядела на меня. Отчаянно мотаю головой. Но она с явным удовольствием продолжает игру.

— Что товар-то заглазно продавать? Коли свашить, так свашить! Скажите нам купца-то.

— А купец наш Андрей Тарасович Кирпонос!

Господи, я чуть не умерла. И ужас и смех разбирает. Катька в меня вцепилась, ревет, шепчет:

— Не ходи за него, нянька! Не ходи!

Настасья Петровна поднялась, низко поклонилась гостье.

— Непродажный наш товар-то! Ищите краше нас.

Соседка, сбившись с тона, в сердцах сказала:

— Меня байдуже! Та що ж вона тут у вас маком сидит? Хлопец моторный...

Но Настасья Петровна выдержала до конца.

— Нет, не поспел наш товар.

— Не потрафил купец, значит?

— Ну!

Соседка встала и молча пошла к двери. Настасья Петровна подала пальто, поклонилась. Так та и ушла, не простившись, будто смертельно обиженная. Господи, думаю, что теперь бу-

дет! Выскочила из своей комнаты. Настасья Петровна глянула на меня.

— На ей лица нет! — Засуетилась: — Садись, доужинай-то. Испужалась! Глупенька, кто насилу заставит?

— К чему вся эта комедия?

— А нельзя! — строго сказала Настасья Петровна. — Дело не шуточное: человек мучается. По порядку надо.

Какие-то неписанные правила здесь. Так поверху-то не видно. А чуть дольше поживешь и заметишь. Знаешь, мне жалко Кирпоноса. И стыдно, точно я в чем-то виновата.

3

Опять я нарушила какие-то правила. Чем ближе сходишься с людьми, тем сложнее отношения. Сейчас уже отошла, а было худо. Вчера мы с Федором Павловичем весь день сидели над ведомостями на оплату за окорочные работы. Я совсем запуталась, запропастились куда-то десять рублей. Федор Павлович отчет не принял, стал разбираться. Мы задержались и не пошли обедать.

Описывала его тебе? Самый незаметный человек в конторе. Тихий. Вечно сидит, уткнувшись в бумаги, работяга. В финансовых делах — скала. Никогда не спорит, не доказывает. Если видит отступление от закона, просто говорит спокойно: «Нельзя!» — и ни слова. Можешь лезть из кожи, убеждать, что для пользы дела, — молчит. И не уступает. Впрочем, с ним никто уже и не спорит: знают, что бесполезно.

Сидим с ним над ведомостями, когда врывается его жена. Накрашенная до неузнаваемости. Она намного его моложе, а ему лет тридцать пять. И сразу начинает кричать на всю контору:

— Ага, уже и на обед перестал приходить! Стыд потеряли — сидят вдвоем!

Он, ни слова не говоря, увел ее. А вечером она также ворвалась к нам в дом. И опять крик. В общем, сцена ревности. Представляешь?

Конечно, когда Настасья Петровна с Катькой явились из гостей, я лежала на кровати и редела. Настасья Петровна, оказывается, уже в курсе. Весь поселок в курсе. Раззвонили.

Я всхлипывала, повторяла, что больше не могу, что уеду. Она долго сидела рядом со мной в темноте, не расспрашивала, не утешала, рассказывала о своей жизни.

В войну она осиротела — отец на фронте погиб, мать умерла. Взяли в детский дом, где-то на Северном Урале. Там начала работать на заводе. Полюбила, вышла замуж. Катька родилась. А муж бросил. На другой женился. Она все продолжала его любить. Встречала на улице, отойти не могла. Все ночи плакала. И тогда взяла Катьку, уехала в Сибирь, в тайгу. Все там бросила: квартиру, обстановку. Одну пепельницу чугунную захватила — отец сам отливал. Он был мастер фасонного литья. Забыла ли она мужа? Нет, до сих пор любит. В Красноярск помчалась к приятельнице-землячке, потому что та в отпуск домой, в их город, ездила. Так вот, узнать, как он там, поговорить о нем. Уже семь лет прошло. Катька и не помнит отца. Вернется ли он к ней? Нет. Он там хорошо живет, домовито. И жена хорошая, солидная. А она что же? Беспашная, не пара ему.

И как она рассказывала! Легко, светло, будто о другой.

Что это за особенность у русской женщины — не считать, не взвешивать своего личного горя! Живет, растит дочь, работает, нося свое горе в себе, не перекладывая его на других. Ведь я не догадывалась!

И, знаешь, это мне вернуло мужество. А раз так, нужно быть честной до конца. Я действительно немного виновата перед женой Федора Павловича. Ведь я ему чуточку нравлюсь. Самую малость. И мне, подлой, это приятно. Значит, поделом! Тем более, что сама-то знаю, что равнодушна, что никогда тут никого не полюблю!

Удивительную школу человеческих отношений я здесь прохожу. В книжке, которую дал мне Василий Мефодьевич, заложено место, где Энгельс пишет, что в каждую историческую эпоху люди сами устанавливают для себя нравственные нормы. Нормы

поведения, нормы отношений. Энгельса не пугало, что потомки пошлют к черту нормы, по которым жили его современники, и установят свои. Он даже радовался этому.

Мне сейчас пришло в голову, что, может быть, именно это и происходит у меня на глазах: возникают и устанавливаются новые человеческие отношения! Я сама в этом участвую. Что-то ломается во мне, что-то рождается... И, может быть, потому мы с Семеном Корнеевичем разговариваем на разных языках?! И, может быть, Василий Мефодьевич нарочно дал мне эту книжку, с закладкой на этом месте — в ответ на мои жалобы на главного инженера. Хоть бы он поскорее выздоровел, так нужно поговорить!

4

Пришла возвратить Василию Мефодьевичу книги и застала его на веранде, где он устроил целую оранжерею. Возился с какими-то чахлыми ростками. А как услышал про тебя, обхватил меня обеими руками, закричал:

— Верка, молодчина! Пиши, чтоб доклад нам готовила по литературе! Приедет, весь поселок соберем! Аля, Аля, к нам Белинский едет!

Аэлита Сергеевна вышла и ахнула: он вымазал мое светлое пальто землей!

Пока Аэлита Сергеевна отчищала пятна, он успел наговорить целую программу для твоего доклада. Так что видишь, как тебя здесь ждут!

Я посмеялась, сказала, что, конечно, твой доклад совершит здесь культурный переворот. И после этого мы сразу построим коммунизм! Он сейчас же прицепился к слову:

— Что значит — построим? Что это — башня? Сто девяносто девять кирпичей положили — еще нет коммунизма. Последний двухсотый уложили и, пожалуйста, коммунизм готов!

Я возразила:

— Пусть не сразу. Конечно, наша цель коммунизм. Наш идеал. Но пока он далек.

— Цель! — прервал меня Василий Мефодьевич. — Но не думаете ли вы, что коммунизм — идеал, который кто-то придумал, который следует ввести с первого января? Коммунизм уже прорастает в каждом из нас. Всмотритесь! Коммунизм, ведь это движение жизни.

— Так, может быть, коммунизм придет сам собой?

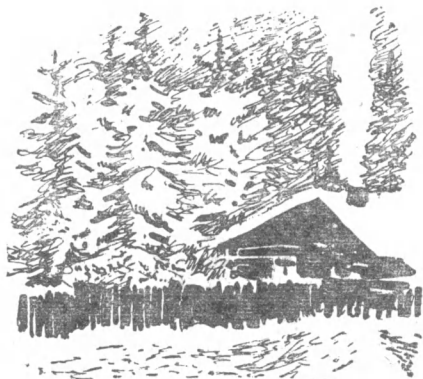
— Нет! У человека всегда есть выбор: помогать или мешать этому движению.

Мне очень понравилось: движение жизни!

— Это, между прочим, Маркс сказал! — уточнил Василий Мефодьевич с какой-то даже гордостью за Маркса.

Какая чудесная мысль! Движение жизни, значит, бесконечно, все вперед, вперед и выше...

Странная штука человеческое сердце. Через сто лет меня и в помине не будет, а мне важно, что станется через тысячу! Как Василию Мефодьевичу важны эти ростки, которых он, может, и не увидит деревьями!



1

Он умер. Внезапно. Ему уже стало лучше. Мы назначили день для второго занятия кружка. И вдруг я увидела, как Аэли-та Сергеевна, странно спотыкаясь, бежит по улице, без пальто, и девочка, их соседка, тащит ее за руку, что-то кричит и плачет. Я выбежала из конторы. К их дому со всех сторон спешили люди. Была страшная тишина в поселке. Только скрипел снег под ногами.

Когда я вошла, все толпились в первой комнате. А там, в комнатке с веселыми обоями, на полу... Очевидно, он встал. Он еще боролся, может быть, шел к окну. Может быть, к Але...

Она стояла рядом на коленях, прижавшись щекой к его щеке, замерев. И какая тишина!..

Сегодня хоронили. В десятом квартале. Там нет никакой кладбищенской ограды. Просто среди деревьев могилки. Как часть леса. В поселке есть поговорка: смотри, в десятку по-падешь! Как в тире.

К счастью, тут нет духового оркестра. Все было тихо, быстро. Рабочие переговаривались вполголоса. Аэли-та Сергеевна, окаменевшая, с сухими глазами, стояла у могилы. Стали бросать горсти земли. Она и тут не шевельнулась. Будто тяготясь, будто только дожидаясь конца, чтобы уйти. Я поняла: то, что там в некрашеном гробу,— это не он, это чужое, лишнее, что



мешает ей оставаться с ним, живым... Едва вырос холм, она повернулась и быстро пошла, не оглядываясь. Постепенно разошлись остальные.

Я спряталась за дерево. Мне нужно было побыть одной, осознать, что случилось. Пошел снег — неторопливые крупные хлопья. Скоро свежий холмик стал белым, как другие, — не отличишь.

К чему же все: горение, страдания, радости, если все равно смерть? Рождаемся, чтобы умереть. Всему смерть. И какая разница между кочками и человеческими могилами под снегом — всюду погребена жизнь. Так есть ли какой-нибудь смысл в существовании человечества? Отличный от существования камня, дерева, солнца? Конечно, нет. А наши планы, цели? Может быть, это просто самообман, самообольщение, чтобы не так страшно было в этом бессмысленном и бесцельном существовании?

Не знаю, не знаю, все сместилось. И все мои философствования, мои открытия, все как детская игра рядом со смертью.

Снег опускался ровными слоями, будто там наверху разматывался бесконечный рулон, и от этого можно было сойти с ума.

Зачем он умер?!

Ты извини, я пишу какой-то бред. Я очень продрогла там, и, кажется, у меня жар. Знобит. Сажу у окна, закутанная в одеяло, в доме натоплено, а мне холодно.

Почему бы и мне не умереть сейчас? Какая разница — раньше, позже! Все случайно. И то, что я вообще родилась. Случайно встретились мои отец и мать, которых я и не знала. Меня могло и не быть на свете. Что бы изменилось? Снег бы шел и шел...

Я смеялась, когда слышала от других подобные речи. И вот мой черед... Теперь ты посмеешься. Может быть, человек неизбежно приходит к этому, как к смерти: все бессмысленно...

Я очень страдаю. Я не знала, что так привязалась к этому человеку. Как можно пережить утрату близких? Неужели к этому привыкают?..

2

Оказывается, прошло больше трех недель, как я заболела! Давно вижу на столике белые прямоугольники, а только вчера поняла, что письма. Прочитала сегодня. Вопросы, вопросы... Прости, не могу отвечать, в голове пусто.

У меня было воспаление легких. Приезжал врач из района, бесконечно долго смотрел на меня строгими глазами...

Очень интересное ощущение, хотя мучительное: в груди пирамида камней. Когда я чересчур сильно кашляла, пирамида разваливалась, камни рассыпались, закатывались в самые уголки, под ребра, кололи и резали острыми краями. Тогда я осторожно поворачивалась, чтобы снова собрать, скатить их в кучу. Это очень трудно и требует адского терпения. И этим было заполнено все мое время.

Часто приходила медицинская сестра. Настасья Петровна просила:

— Брось ей банки-то!

Вдвоем они меня ворочали, обжигали, обтирали, мазали скипидаром, пахнущим тайгой.

Днем я оставалась одна и погружалась в блаженную тишину. Сольвечный луч скользил по моему лицу, светил сквозь веки...

Ничего мне не нужно. И никого не нужно. Спасибо.

3

Можешь меня поздравить: чуть было не вознеслась живьем на небо. Днем сегодня задремала и слышу глас:

— Окружили меня беды неисчислимые... Господи, поспеши на помощь мне...

Глаза приоткрыла. У окна сидела женщина в темном монашеском платке и читала вслух Евангелие. А рядом, прислонившись к дверному косяку, с малышом в руках стояла Даша. На лице ее сонно-блаженная улыбка, она шевелила губами.

А я не удивилась их появлению! Как будто так и следовало. Паутинная солнечная тишина. Шепот Даши:

— Господи, да будет воля твоя! Господи!..

И строгий взгляд на меня поверх книги этой женщины в черном.

И вот чувствую, задрожала во мне какая-то подлая жилочка. Таким сладостным показалось от всего отвернуться, закрыть глаза, не думать, не терзаться... Отдаться чужой воле... Что-то там у меня в груди отворилось, и слезы потекли, потекли...

Женщина в черном встала (это была жена Семена Корнеевича), подошла к двери и торжественно, дрожащим голосом провозгласила:

— Владыка, прими душу на покаяние!

Из-за двери выставилась волосатая опухшая физиономия. Маленькие глазки уставились на меня.

— А что глаголя глас вопиющего? Приготовьте путь господу!

Явно робей, владыка ступил в комнату и сразу наследил грязными сапожищами. Это меня отрезвило. Отодвинулась от них в угол, подтянув одеяло, и, собрав все силы, закричала:

— Сейчас же убирайтесь отсюда! Вон сейчас же!..

Они исчезли, как мыши.

После этого я долго не могла от слабости рукой двинуть. И до сих пор на душе отвратительный осадок. Ведь я же плакала от умиления! Ведь я действительно едва не произнесла мерзкое «да будет!».

У меня такое же чувство, как было однажды, когда чуть под поезд не попала. Тогда стояла рядом с проносящимся составом, смотрела на рельсы, по которым катились колеса, на рельсы, где я только что была... И долго тогда не могла избавиться от тошнотворного чувства: а ведь могло быть... Вот и сейчас мне ужасно стыдно того подлого чувства, какой-то рабской радости и умиления. И страшно: поддалась бы — и все, и нет пути назад, и в рабстве!

И вспомнился мне разговор там, в том доме... Когда Аэлига Сергеевна говорила, что нынче нет дураков, верящих в сказочку о трех китах. Понимаешь, не думала я в тот момент об этих китах! Все равно мне было! А важно было только одно: меня пожалели.

Вот на что они ловят! Подкидывают «божественные письма» и выжидают подходящего момента, когда у человека ослабеет воля и помутится рассудок. Когда человек устанет думать, решать, бороться. Тогда они тут как тут.

Даша за свой счет подкармливает юридивого попа. Интересно, какое отношение имеет к этому Семен Корнеевич? Не подослал ли жену?

Между прочим, сегодня у меня зверский аппетит!



1

Сегодня расскажу тебе о Николае Николаевиче. Даже не о нем, а о его картинах. И что они со мной сделали. Одна особенно!

Встретила его на улице. Несколько дней уж как выхожу. Слабость, еще шатает. А у нас пурга — дует и сыплет неделю без продыха. Так я больше возле дома. Шагов пятьдесят в одну сторону, пятьдесят в другую. Задохнусь от ветра, щеки и лоб посечет, намолотит снег под платок, и я шашть обратно в дом, к печке, раздеваться, греться, сушиться.

Да, гуляю себе по улице. А сугробы намело до крыш. Дорожки прорыты как траншеи. И прямо налетаю на счетовода Николая Николаевича. Он со мной раньше никогда не разговаривал. А тут остановился, нагнулся, заглядывает под платок. Огляделся, точно боится кого, и скороговорочкой этак пригласил:

— Заходите сегодня чайку испить. Непременно! Ждать будем.

И вот я у них. Вся мебель в доме самодельная. Старинные лавки, кресла, ларцы — точно в тереме. А посреди терема за выскобленным столом восседает сама Ольга Ивановна, ангарочка. Широкая да могучая, одна всю сторону стола занимает. Верно, такие на медведя с рогатиной хаживали. Рядом с ней Николай Николаевич, как сушнячок. Удивительно, как они во

всем не похожи! Она малограмотна, он образован. Она грубоватая, прямолинейная. Он тактичен, утомительно вежлив. И прожили вместе больше двадцати лет! А ты мне, помнишь, как-то писала о неравных браках: в наше время для семейного счастья нужно, чтобы и образованность была одинаковая, и профессия общая, и характеры похожие...

Николай Николаевич рассказывал за чаем историю этого края.

— Какая прежде глушь была! Перед революцией где-то здесь поблизости жил в ссылке Дзержинский. Вот Оля помнит о нем рассказы! — кивнул он на жену.

Та подтвердила улыбкой. Зубы у нее редкие, крупные и крепкие. Ест она красиво, будто между прочим, не замечая.

Среди чаепития Николай Николаевич внезапно говорит:

— Уезжайте-ка отсюда, Вера Иннокентьевна!

Так и обомлела.

— Но почему? Мне здесь хорошо.

Николай Николаевич забарабанил пальцами по столу.

— Без Василия Мефодьевича тяжело вам тут будет. Одни названия поселочков чего стоят: Елань, Потоскуй, Покукуй! И Аэлита Сергеевна собирается, за ней мать уже приехала. Право, езжайте с ней, вас отпустят.

Меня задело.

— Вы хотите сказать, я здесь лишняя? Не могу пользу принести?

Он пожал плечами.

— Польза, польза! Нельзя все пользой мерить. Сломает вас тайга — какая польза?

— Влюбился он в тебя, вот и вся байка! — хрипло рассмеялась Ольга Ивановна. — Жалеет.

У меня все внутри оборвалось — что сейчас будет? А Николай Николаевич поглядел на жену с улыбкой.

— Что ж ты меня выдаешь?

— А лешего! — громко сказала она и ударила его по плечу. — Валяй крути хвостом, старый пес!

Это, как видно, означало разрешение вести меня в картин-

ную. Николай Николаевич повел меня в другую комнату, увешанную его работами.

Все это была тайга. Знакомая и незнакомо прекрасная. Меня окружало море красок, нежных и грустных, ярких и кричащих. Каждый цветочек и лепесточек в отдельности я узнавала, а все вместе было совсем ново. Бродила вдоль стен и не могла вымолвить ни слова. Но ему и не нужно было слов. Он просто радовался, что я смотрю. А я не могла оторваться.

То была не проскуринская безлюдная тайга. Людей на картинах не было, но я видела их всюду. Не знаю, как объяснить... Будто я была рядом с человеком, который увидел вот этот мшистый склон с золотистыми рододендронами под вечер, в последних лучах солнца, когда работы в лесу кончены и можно отдохнуть, раздуматься... А вон на голой скале высоко, под самым небом, торчит тоненькая, бело-розовая, детски трогательная березка. И непонятно, как она там выросла, где корни ее, откуда силы берет? А она стоит и шумит на всех ветрах листочками своими!.. И это уже я стою там внизу, задрал голову, и у меня захватывает дух от того, какая радость жизни в этом деревце.

Все это я говорила ему нескладно, сумбурно... А он смотрел на меня с улыбкой и повторял:

— Уезжайте, Вера Иннокентьевна, уезжайте!

Я спросила: чего он не договаривает?

— Вам нравится березка... Да, она жива на этом холсте. Но настоящая, с которой рисовал,— ее уже давно сломало ветром.

Все думаю теперь об этом разговоре. Несомненно, он меня от чего-то предостерегал. Может быть, он прав, мне еще готовится тяжелое испытание... Я почти уверена, он имел в виду Семена Корнеевича, который теперь расправится со мной. Настоящая березка погибла! Но все равно перед глазами моими голый утес под высоким небом и на нем юная березка, и она живет, живет, всем смертям назло! Я не уеду! Не уеду!

Я думаю, что искусство в тысячу раз сильнее всякой религии.

У нас ничего нового. Если не считать того, что Мерич явился. Пришел вечером, чтобы наверняка застать Настасью Петровну. Жалкий и облезлый, как ободранный кот. Сбросил валенки в сенях, вошел в одних носках. По-сиротски присел на корточки у стенки. Молча возвел очи, полные смертной муки.

— Кушать будешь?— спросила Настасья Петровна, сострада.

— Каяться я пришел.



— Да ну!— весело удивилась Настасья Петровна.— Пропился?

— Что водка! Не нужна она мне, язва не принимает. А я подлец. Предатель и подлец! Бросил бригаду в самый ответственный момент плана. Плюнуть и растереть! Иннокентьевна, возьми назад в бригаду! Возьми подлеца!

И вдруг он разрыдался. Так неожиданно. Посреди своего обычного кривлянья заплакал настоящими слезами. Настасья Петровна не выдержала, бросилась к нему, стала поднимать.

— Ты чо, обезумел?

Всклипывая и вскрикивая, он стал говорить, что Проскурин топчет его, унижает, что он удавится на первой осине.

— Да чем он тебя так-то?

— Не глядит!— завопил Мерич.— Совсем не глядит. К дереву подходит, дерево видит, дерево щупает. А меня рядом нету! Мне ни одного слова! Хоть бы обругал. Не могу терпеть! Я человек — у меня язва, радикулит, переживания, ни семьи, ни близких... А ему я дырка! Дырка!..

В общем, кончилось дело тем, что я обещала переговорить с Петрушиным. А Настасья Петровна скормила ему весь наш завтрашний обед и, кажется, выпила с ним за человеческое достоинство. Не дождалась конца, ушла к себе и заснула.

Петрушин, конечно, согласился.

Аэлита Сергеевна уехала. После смерти мужа она на глазах стала таять. Бледненькая, совсем прозрачная, пыталась еще вести занятия в школе. Но силы уходили. Дважды ей на уроке становилось плохо. Приезжали врачи, смотрели — руками разводят: нервное истощение! А Настасья Петровна говорит: не жилища!

Уехала и оставила мне почти все книги Василия Мефодьевича. И я теперь читаю, читаю каждую свободную минуту. Много книг по философии, еще больше по лесоводству. И я среди них, как в море. Какую же крошечную крошечку, оказывается, узнала я по закладкам Василия Мефодьевича! Начиная серьезно готовиться в институт. Зачем? Теперь я знаю зачем!

3

Поп таежный исчез. Удрал, верно. Говорят, Семен Корнеевич узнал об участии жены в поповских радениях, ругал ее ужасно, даже будто бы избил. Загадочный он для меня человек.

Ох, как воеет и метет за окном! Совсем засыпало наш поселочек. Когда до тебя дойдет эта весточка, неизвестно. Никто никуда не выходит, не выезжает. Сижу и я в своей белой бер-

логе, лапу сосу, книжки читаю, ума набираюсь... Очень много думаю о себе. Опять о себе. Но совсем иначе. Однажды я па тебя обиделась за то, что ты обозвала меня бледной личностью. Помнишь, мы несколько дней не разговаривали? А все потому, что я никогда не участвовала в общих ваших разговорах, спорах, постоянно отмалчивалась. У меня никогда не было своего мнения. Тебя это злило... И вот вспоминаю свою жизнь до Елани и думаю: а была ли я вообще личностью? Мне сейчас кажется, все во мне спало, я жила с закрытой душой. И многое, наверно, проходило мимо меня. Вот, например, тетя. Столько лет прожила я с ней вместе, а знала ли ее, понимала ли? Всю ее безалаберную жизнь, умение вечно заниматься чужими судьбами, хлопотать по чужим делам я не понимала. Меня даже раздражало это, я стыдилась нашей комнаты, неустроенной, с бедной, случайной сборной мебелью, и поэтому не любила приглашать вас к себе. Тетя, которая жила своей лабораторией и интересами других людей, казалась мне такой же бледной личностью, как я сама. А наши соседи? А учителя? А все, кто окружал меня? Что я о них знала? Я спала!

Мне кажется, я пробуждаюсь. Как будто из тумана выступает окружающий меня мир, лица людей, и все вокруг полно смысла... Какой простор!

Маркс пишет, что только в коллективе человек получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода. Как верно!

Нелепость думать, что личная свобода — это, значит, свобода от обязанностей! Личная свобода — это возможность жить полной мерой души. И я так живу сейчас здесь, в этой заваленной снегом, не отмеченной на карте Елани! А смысл жизни? Если коммунизм — это само движение жизни, то смысл жизни человека в том, чтобы уметь распознать это движение и заглянуть вперед. Василий Мефодьевич это умел. Для этого нужно много знать. И для этого стоит идти в институт. Именно для этого.



1

Еще только начало марта, еще дороги не рушатся, а в лесу уже все иначе. Сегодня бродила по участку, слышу: дятел! Здравствуй, миленький! Работаешь?

Николай Николаевич уже по субботам чуть свет уходит в тайгу со стульчиком, с ящичком.

На днях Семен Корнеевич вызвал меня в контору и, криво улыбаясь, сообщил, что меня и Петрушина приглашают в трест на совещание — доложить об опыте организации комплексной бригады. Петрушин приводит в порядок записи, сидит ночи напролет над своей тетрадкой. Днем пишем с ним доклад.

Да, неожиданно приехал Спицын! Петрушин притащил его к нам среди ночи. Мы уже спали. Вдруг слышу сквозь сон: в окно барабанная дробь. И задыхающийся голос Петрушина:

— Вставай! Спит!.. Кто приехал, погляди!

Я перепугалась, закуталась в одеяло, бросилась к окну. Господи, при луне на снегу Петрушин пляшет вокруг какого-то человека. Тот отмахивается, хохочет. Разбудили весь дом. Настасья Петровна носится, лохматая, заспанная, но очень довольная.

— Чо стоишь? Пой чаем!

И вот сидим за столом. Спицын похудел, сбрил усы — стал взрослее, хоть куда жених! Петрушин смотрит на него влюб-

ленно, с таинственным видом нам подмигивает. Наконец не выдержал, как закричит:

— Молчит! Давай, давай доказательство!

И тут Спицын небрежно выкладывает на стол журнал, раскрытый на странице, где жирно напечатано: «Рабочий комбинезон конструкции М. В. Спицына». И фотография и чертежи.

Ему прислали из журнала извещение, что в начале сезона приедет от редакции корреспондент посмотреть комбинезон на практике. Просили организовать опытный участок. Спицын получил в тресте разрешение испытать комбинезон у нас. Приехал как победитель. В разговоре у него появилась какая-то новая манера: тянет слова, задумывается. Петрушина по плечу похлопывает, как старший. О Семене Корнеевиче ни слова. Хоть он и не говорит, но я вижу, он не только из-за петрушинской бригады, он из-за Семена Корнеевича приехал! Ему хочется расквитаться за прошлое, за унижительный тот разговор... И мне было неприятно, что в хорошее дело примешивается что-то мелкое, личное... Но я теперь стала мудрой: человека нужно воспринимать целиком, со всеми его высокими и малыми побуждениями, а не выдумывать себе несуществующих святых.

Он привез пять комбинезонов, подгоняем их по росту.

Летом Спицын собирается в город, поступать в медицинский. Просил передать тебе благодарность за программу.

А от Юры писем нет.

2

Ну что ж, ты угадала! И к чему мне притворяться? Я верю, ты никогда, никогда не скажешь ему этого. Наверно, это случилось очень давно. Но в первый раз я поняла и призналась самой себе в седьмом классе. Был урок физики. Юрку вызвали к доске. Он не знал урока. Но подсказывать было легко, ты же помнишь нашу рассеянную Августину. На ее уроках нередко отвечали в два голоса. Этим даже щеголяли. Юрке стали подсказывать. Но я увидела, как на лице его промелькнуло

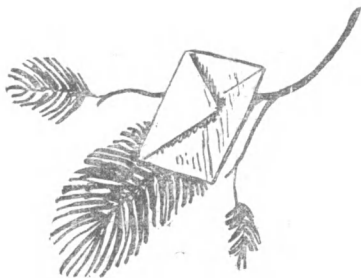
что-то такое, точно ему сделали больно... Он упрямо двинул плечом и громко сказал Августине: «Урока я не приготовил!» Она и не цояня сразу, переспросила, удивляясь. Он покраснел и раздельно и четко повторил и положил ей на стол дневник.

Видишь, детское воспоминание. Но оно так живо у меня! И когда я хочу себе представить его, вспоминаю это упрямое движение плечом.

Ты пишешь, что он свободен, что забыла его, что то была просто детская влюбленность, с которой ты распрощалась навсегда. Для чего ты мне это пишешь? Чтобы дать надежду? Неужели ты не понимаешь, если бы у меня была хоть миллионная доля надежды, я ни за что не написала бы тебе это письмо.

Я знаю, всю жизнь мы с Юркой будем добрыми друзьями. Но кому-то один раз в жизни могу я сказать все? Не бойся, больше никогда не стану донимать тебя излияниями. В первый и последний раз. Вот написала, а что дальше писать, не знаю. Собственно, ведь писать-то не о чем. Мы виделись с ним после моего отъезда в техникум считанные разы, когда я приезжала на каникулы и мы собирались у тебя. У меня хранится его одно-единственное письмо из армии. Вот и все мое богатство! Но только я знаю, если у меня достанет сил что-то сделать в жизни, если вообще сердце мое бьется, так это потому что... Потому что он всегда вот здесь у меня... Всегда...

Прости, пожалуйста,



1

Я видела Ангару! Мы летели с Петрушиным в районный центр на маленьком самолете. Сидела рядом с пилотом. Боковая дверка прозрачная до самого пола, и впечатление, что парить свободно в воздухе.

Внизу тайга, без конца и края. И всюду в пролысинах сверкает вода. Тепло обрушилось сразу, и все потекло, забурлило.

Едва мы устроились в общежитии, побежала на берег. Ангара уже свободна. Гладь воды широкая, спокойная. На противоположном берегу мягко круглятся невысокие холмы, уже сплошь зеленые. И от них по голубой воде ложатся теплые серые тени.

Мужчины спускались к воде с тяжелыми лодочными моторами на плече, ладили лодки. Кто-то кричал снизу:

— Морду неси!..

Оказалось, это вершу.

Потом увидела двух старух, гребущих на ту сторону с бидонами и ведрами в лодке — доить коров, которые пасутся на заречных лугах. На следующий день меня позвали смотреть, как везут на ту сторону на плоту корову. Буренушка чувствовала себя очень уверенно, широко расставив ноги и покачиваясь на волнах.

Здесь свой строй жизни, свой язык, свои легенды.

Конечно, можно всю жизнь прожить на берегу Карабухи и в Елани увидеть целый мир. Ведь природа человека всюду одинакова. Среди книг Василия Мефодьевича мне попалась книга Миклухо-Маклая, и там я вычитала, что повсюду люди отличаются только обычаями. А уж он-то знает! Но мне именно эту-то похожесть людей и интересно узнавать. Видеть сквозь все необычное знакомые приметы. Понимаешь? Вот, например, мне показали остров, на котором похоронен утонувший солдат. На этом острове заготавливают сено. Но ночевать на нем нельзя — ночью солдат встает из могилы и гонит посторонних прочь. И один тамошний старик при мне рассказывал, как он однажды, запоздав, остался ночевать на острове, в шалаше. Ночью чует, кто-то его за плечо трясет. Открывает глаза — солдат! Смотрит сердито и говорит: «Мой остров!» Старик как был, так в воду и сиганул. Еле до берега вплавь добрался. Но главное, как он рассказывал! И серьезно, и в то же время с насмешкой над самим собой, и с удивлением, что хоть и не верит, а все же испугался. Точно глядя со стороны на эти свои древние страхи! Понимаешь, вот это раздвоение, когда и верит, по уже и понимает, что смешно верить, — ведь это то самое Движение Жизни, которое я вижу теперь во всем и всюду... Ужасно хочется все на свете объездить, все увидеть, все понять!

Там, на Ангаре, услышала первую песню зяблика! До чего задорно поет зяблик весной! Мол, знай наших!

Доложили мы неплохо. Совещание было не парадное, деловое. Народу не много. Зато все интересуются. Уйма вопросов. Собираются приехать посмотреть.

Поразило же меня другое. Поразило то, что там все меня всерьез принимали. Не как маленькую. Не делали вид, а действительно слушали заинтересованно. И я осмелела и стала говорить о бригаде, как я думаю, о том, какая это прекрасная форма человеческих отношений. Сперва у меня был страх, что все тут же поскучнеют, раздражатся, как это бывало с Семеном Корнеевичем. Но этого не случилось. Я почувствовала, что это волнует всех, всем близко — человеческие отношения! И у меня возникло убеждение... Ты не смейся, не думай, что я себя пе-

реоцениваю или зазналась... Нет-нет, я прекрасно понимаю, что еще НИЧЕГО в жизни не сделала. Но у меня возникло убеждение, что все мои мысли, чувства, стремления не смешны, что они понятны другим потому, что и другие мыслят и чувствуют так же. В общем, что все, чем я живу, имеет право существовать.

На обратном пути спрашивала Петрушина: не боится, что опозоримся? Вдруг не пойдет живица при ребристом окорении? Он даже подскочил.

— Абсолютно!— Словечко у него теперь такое появилось. Весна, весна! Чувствуете вы ее там, в городе?

2

Извини, совершенно времени нет — самая подготовка к сезону. Теплынь. Сокодвижение начнется со дня на день. Цветет белый подснежник, сон-трава. Все дни я в лесу и вижу, как просыпается тайга. Вчера с трясогузкой поздоровалась. Муравьи поползли... Скоро журавли затрубят. Скоро экзамены — у тебя в институте, у меня в лесу.

3

Приказом по химлесхозу петрушинская бригада расформирована! Ты представляешь?! Сегодня Семен Корнеевич собрал в конторе всех мастеров на оперативку перед началом сезона и объявил. Почему? Не поговорив, не предупредив... И несмотря на то, что в тресте поддерживали! На оперативке он мне слова не дал. Вызвала Петрушина. Мы просто ворвались к нему в кабинет, он не хотел ничего обсуждать.

— Я отвечаю за план, и я решаю!

Нового директора пока не прислали, и Семен Корнеевич исполняет обязанности, все руководство в его лице. На Петрушина было страшно смотреть, я думала, он его сейчас убьет.

Семен Корнеевич сидел на месте Василия Мефодьевича, хозяйски расставив локти на столе, спокойно, уверенно смотрел на нас с насмешкой.

— Вот так, деятели! Считаю, что предложение мало проверено. Рисковать планом не желаю. С трестом я договорился. Пусть в другом хозяйстве пробуют. У меня тут нету условий.

— Как — нет условий?! — Петрушин перегнулся через стол; казалось, он собирается вцепиться в него зубами. — Как — нет условий?! Люди же есть!

Семен Корнеевич осклабился.

— Потому что люди, поэтому как раз и не могу допустить. Интересы людей я и соблюдаю.

— Так ведь они же добровольно.

— «Добровольно»! Мозги затуманил. Мастера неопытного с толку сбил. И ты думаешь, они работать будут? А это видал? — И он вдруг сунул Петрушину под нос кукиш. — Рубль человеку нужен! Ру-бль! А не агитация! За рубль он и работает. За свой рубль! Понимаешь? За свой! Мне надо, чтобы каждый за себя отвечал, тогда я с каждого план спрошу. А у тебя я с кого спрошу? За всех твоих с кого спрошу? С тебя? У тебя из зарплат вычту? А у тебя шиш в кармане! То-то. Иди и работай. На своем старом участке. Не хочешь — бери расчет. И вас, Вера Иннокентьевна, не задержу. Можете написать заявления-це насчет здоровья...

Откуда у меня спокойствие взялось?

— А я, между прочим, не собираюсь уезжать отсюда, Семен Корнеевич!

— Напрасно, Вера Иннокентьевна. Пока мы вам трудовую книжечку не испортили... — Он продолжал улыбаться. — Или здоровьице...

Тут за спиной у меня кто-то сказал:

— Ты что на нее-то взъелся, Корнейч?

Оглянулась — Кузьмич!

— Тебя кто звал? — тихо, с угрозой сказал Семен Корнеевич.

Кузьмич укоризненно покачал головой.

— Никто. А нехорошо, Семен Корнеевич. Ну меня, старого холуя, за собаку считаешь. Так я другого не стою, Мне податься некуда, ты знаешь, ты этим вот как пользуешься!

— Чем я пользуюсь? Что ты брешешь!

— А как же, по твоему указанию я Кирпоноса тогда наполнил...

— Пошел отсюда к чертовой матери!— Семен Корнеевич встал, шагнул из-за стола.— Духом!

Кузьмич съежился, отступил в коридор:

— Иду, иду, куда ж мне податься... А нехорошо!..

Семен Корнеевич сел за стол, принялся разбирать какие-то бумаги. Но руки у него дрожали! Сказал, не глядя на нас:

— Все. Окончен разговор.

Дудки! Не окончен разговор. Петрушин подал заявление в партийное бюро. Я написала в трест. Будет общее собрание, на котором выступит вся наша бригада. Рубль?! Разве Мерич за рублем вернулся в бригаду? Или Кирпонос! А Петрушин? И все другие! Нет, будем драться!

А мне еще один урок. Я думала, лишь бы попасть в поток, в главный поток жизни, а дальше понесет себе как щепочку. Плыви и радуйся. А выходит, нужно этому потоку прокладывать и чистить русло!

Будем драться! Тем более, Проскурин говорит, вот-вот просятся деревья...



ОГЛАВЛЕНИЕ

Июль	3
Август	14
Сентябрь	32
Октябрь	54
Ноябрь	67
Декабрь	83
Январь	93
Февраль	98
Март	104
Апрель	107

Для старшего возраста

Цессарский Альберт Вениаминович

ПРОБУЖДЕНИЕ

Ответственный редактор *И. Ф. Скорородова*. Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*. Технические редакторы *Г. В. Лазарева* и *И. Я. Колодная*. Корректор *В. Е. Калинина*. Сдано в набор 30/XII 1971 г. Подписано к печати 6/IV 1972 г. Формат 60×84¹/₁₆. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 6,53. Уч.-изд. л. 5,63. Тираж 75 000 экз. ТП 1972 № 376. А02240. Цена 31 коп. на бум. № 1.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 3551.

Цена 31 коп.